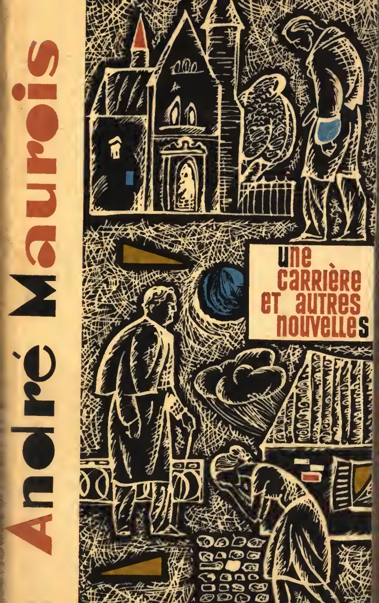

André Maurois
une carrière et autres nouvelles





André Maurois

Une carrière et autres nouvelles

éditions du Progrès

Moscou 1975

1*

Составление и предисловие Т. Балашовой
Комментарий М. Кипятковой
Художник А. Скородумов

Издание 2-ое, переработанное

А. Моруа

Карьера
и другие рассказы

На французском языке

Издательский редактор Р. Кабина
Художественный редактор Л. Шканов
Техничесние редакторы Н.Рабина и В.Пермиова
Корректор Т.Корочкина

Подписано в печати 19.08.1975. Формат 70x90 1/32.
Бумага офсетная №2. Бум.л. 4 1/4 Печ.л. 10,01 Уч.-изд.л. 9,50. Изд.№20515
Заказ 105 Цена 47 коп. Тираж 90000 Издательство "Прогресс"
Государственного комитета Совета Министров СССР по
делам издательства, полиграфии и книжной торговли
Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21. Набрано Ордена Трудового
Красного знамени Первой Образцовой типографией имени
А.А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательства,
полиграфии и книжной торговли Москва, М-54, Валовая,28
Можайский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли,
Можайск, проспект Мира, 93.

М $\frac{60602 - 1057}{014(01) - 75}$ б/з

Андре Моруа

КАРЬЕРА
И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

На французском языке

АНДРЕ МОРУА — НОВЕЛЛИСТ

За восемьдесят два года жизни французский писатель Андре Моруа (1885—1967) опубликовал больше семидесяти томов — романы, жизнеописания знаменитых людей, воспоминания, исторические очерки, литературные эссе. Новелл[1] сравнительно немного. В общем собрании сочинений Моруа рассказы занимают два тома, изданные под названиями — «Всегда случается неожиданное» (*Toujours l'inattendu arrive*, 1943) и «Обед под каштанами» (*Le dîner sous les marronniers*, 1951).

[1] Отдельное русское издание появилось в 1963 г. («Фиалки по средам», М., ИЛ, 1963). Рассказы Моруа за истекшее десятилетие широко публиковались советской периодической печатью и входили в состав антологий,— например, в книгу «Французская новелла двадцатого века 1900—1939» (М., «Художественная литература», 1973).

Последующие новеллистические сборники (например, «Только для фортепьяно» — *Pour piano seul*, 1960) в основном повторяли состав предыдущих.

Итак, два тома из семидесяти... Но жанр новеллы открыл в свое время начинающему литератору дорогу в искусство и навсегда остался любимым, предпочитаемым.

Впрочем, мировую известность Моруа принесли не новеллы, а романизированные биографии — Виктора Гюго и Жорж Санд, Байрона и Шелли, Марселя Пруста и Бальзака, английского политического деятеля Дизраэли и ученого-микробиолога Александра Флеминга,— пятнадцать книг оригинального беллетристического жанра, не считая воспоминаний о современниках.

Автор биографий и воспоминаний постепенно открыл читателю многие особенности своего собственного характера — уважение к человеку и умение быть снисходительным к его слабостям, спокойную уравновешенность умного наблюдателя, порой некоторую отстраненность от общественных бурь своей эпохи, но всегда неколебимо-оптимистическую веру в победу разума и добра. Моруа искренне хочет, чтобы прогресс техники осуществлялся без насилия над естественными человеческими вкусами, распространение образования — без кастовой и расистской регламентации, рост материального достатка — без рабской зависимости от доллара или франка. Но он вовсе не убежден, что для этого нужны коренные преобразования социального уклада на Западе, и он далек от решимости предлагать своим соотечественникам путь борьбы. Поэтому вера Моруа в поступательное движение человечества зачастую имеет оттенок либеральной утопии; многочисленные предложения по

улучшению тех или иных государственных институтов питаются у него по преимуществу просветительскими иллюзиями, а доброжелательное спокойствие почти исключает пафос исторической переделки общества по законам справедливости.

Конечно, Моруа вовсе не противник активной, целеустремленной личности, носящей в своем сердце боль и тревоги «других». Он приветствует духовное пробуждение народов, в ходе которого люди, по его словам, постепенно получают «равные права, участвуют в управлении государством, составляют такое мощное общественное мнение, что оно в конечном счете влияет на правительство и решает судьбы войны и мира». Он радуется за своих современников: человек больше не желает быть пешкой, которую двигают по доске сильные мира сего, и все отчетливее осознает, что «несправедливость, совершенная даже на противоположном конце земного шара, его касается»[1]. Тем не менее среди персонажей, рожденных творческой фантазией Моруа, таких людей мы не встретим. Герои его романов, новелл и часто даже биографий заняты собой в большей степени, чем другими, и почти полностью отгорожены по воле автора от «несправедливостей, совершаемых на противоположном конце земного шара».

Будь их создателем художник, принципиально враждебный истории, не верящий в прогресс, иронически относящийся к человеку-деятелю, они несли бы на себе тавро разъедающего скепсиса, пренебрежения к тревогам большого мира. Но творческая судьба Андре Моруа сложилась так, что, обходя своим писательским вниманием подлинных героев нашей эпохи, он вовсе не отрицает их

[1] A. Maurois. *Bibliothēque publique et sa mission*. P., s.d. pp. 10, 32.

значения в жизни и готов считать их изображение очень серьезной задачей искусства; оберегая сюжеты своих книг от исторических бурь, Моруа сохраняет уважение и к событиям, ставшим историческими, и к произведениям, крупным планом их отражающим.

Новеллы — как и все по существу произведения Андре Моруа — построены на ситуациях локальных и одновременно «вечных»: ревность, любовь, грусть, прощание с молодостью. Ограничена среда, изображенная новеллистом, но подмеченные им чувства, переживания скорее всезначны и почти безграничнo время возможного их проявления.

События, с которыми знакомит Моруа-новеллист, относятся, как правило, к двадцатилетию между двумя мировыми войнами. Но они могли бы произойти вчера или сто лет назад. Бордаск («Проклятие Золотого тельца») сожалеет, что родился не в 1830 г.: наше время куда как беспокойнее. Тем не менее, будь он даже ровесником Гобсека, он точно так же дежурил бы у своего сундука до смертного часа. Рено Леймери («Возвращение из плена») мог вернуться домой и в 1945, и 1918. Супруги Бернен и Ромийи («Завещание») уже много веков соперничают друг с другом в изобретательности, сочиняя завещание.

Моруа-новеллист непритязателен: его рассказы не претендуют на броскую оригинальность или изучение новых пластов действительности. Но обычные, почти банальные сюжеты обретают свою, особенную жизнь благодаря сосредоточенному психологизму. Читателю открываются все нюансы переживаний, малые, чуть уловимые причины, вызывающие обиду, подозрение, отчуждение. Правда, Моруа не вводит нас в «лабораторию сознания» (внутренний монолог, например, его манере не свойствен), зато он ставит нас так близко от

этой таинственной лаборатории, что мы начинаем различать все движения, шумы, пульс ее работы и понимать то, что раньше — в жизни — ускользало от нас.

Психологическая пристальность Моруа во многом связана с психологизмом искусства XX в., хотя избирает дороги протореиные, предпочитает одежды традиционные.

С наибольшей щедростью талант Моруа-психолога проявился в новеллах «семейных», кстати, близких по манере к его романам «Превращения любви» (*Climats*, 1928), «Бернар Кене» (*Bernard Quesnay*, 1926), «Семейный круг» (*Le Cercle de famille*, 1932) и др.

Чаще всего коллизии отнесены к преклонному возрасту. В новеллах, подобных «Коринфскому портику», слышится умиротворенное, приглушенное временем эхо страстей, лихорадивших героев лет десять-двадцать назад. Первая юношеская любовь врывается редко, да и то оказывается неразделенной, безрадостной («Фиалки по средам»).

Человеческое сердце — капризный камертон, начинающий звучать печально, тревожно или радостно от мимолетного воспоминания, случайного визита, совсем ординарного будто бы письма. Годами может царить спокойствие, довольство жизнью, собой, но вдруг — чье-то слово, презрительный жест, снисходительная улыбка, и все кажется уже не столь бесспорным. О том, какими загадочными путями закрадывается в душу сомнение, рассказывают многие новеллы Моруа. Пожалуй, самая изящная из них — «Добрый день, милочка».

Внешне невинные, но незуитски продуманные реплики Сабины разом поколебали счастье Антуана и Франсуазы Кене. Торжествует тонко рассчитанное женское коварство, беспощадное даже к тем, кто раньше был дорог,— к подруге, любимому. Ничего не прои-

зошло, ничего не изменилось, и мы не знаем, изменится ли, но «мелочи» незаметно образовали такую мощную лавину, что ее угрожающий гул долго еще будет сопровождать жизнь героев.

Стремление Моруа к психологической нюансировке эпизодов, к передаче малейших оттенков отношений между людьми со всей очевидностью обнаруживается при сопоставлении различных редакций одной и той же новеллы. «Добрый день, милочка» открывает острое столкновение страстей и темпераментов — и вот автор к переизданию «омолодил» героев, почувствовав, наверное, что «возраст бабушки» (так определена Сабина в первом варианте) не очень вяжется с ее страстной целеустремленностью. Сначала герои встречались через двадцать лет, теперь через десять — живость их реакций убедительней. Раньше Франсуаза говорила, что Сабина ей ровесница, теперь она хитрей: «Сабина всего на три года старше меня».

Из новеллы «Бедная Генриетта» (сб. «Обед под каштанами») родился новый вариант «Ты — великая актриса». В «Бедной Генриетте» психология имела значение подчиненное: просто жена, слывшая послушной и робкой, оказалась достаточно хитрой. Она блестяще разыгрывает комедию неведения — и новелла исчерпана. В «Ты — великая актриса» с этого начинается психологический эксперимент: семейная история, как она видится мужу-драматургу, перенесена на сцену и внезапно для него оказывается фальшивой. Талантливой актрисе Жени Сорбье не дается унизительная роль супруги, добровольно отсылающей мужа поразвлечься с любовницей: «Или ваша женщина дура или ее не было на свете». Так искусство, требующее высшей правды характеров, становится психологическим «проявителем» житейского случая.

Во всех свонх «семейиых» иовеллах Моруа тонко нспользует художествениое слово для выявлеиня, «проявления» различных психологических загадок, оставаясь вннмательным, добрым иаблюдателем.

Но ниогда писатель откладывает в сторону пснхологический скальпель, и его рассказы становятся ироничными, насмешливыми, даже, пожалуй, сатирическими.

Преиебрежительиым иедоумеинем окрашеио повествование в «Проклятии Золотого тельца», где Моруа описал, по его собственным словам, действнтельный случай, поразивший его во время пребывания в Соединенных Штатах Америки. Жалок н смешон скряга, которого даже войиы волиуют только с точки зрения нзмеиеиий курса валюты и который добровольно превращает свое существоваиие в парадокс скопидомства. Тут уже психологический подтекст излишеи: личиость деформирована разрушительиой страстью, оиа утратила способиость реагировать иа какие-либо иные слова, кроме слова «золото». Из-под пера Моруа выходит рассказ-фельетои, рассказ-аиекдот.

Лишены пснхологической утоичеииостн и рассказы, воссоздающие нравы литературно-артнстнческой среды н проннзанные непрнязнью Моруа к «моралн» паразнтирующего искусства. «Карьера», «Рожденне зиамеинтости» и другие блнзкне к ним нмеют ниую виутреинюю задачу, чем иовеллы «семейиые». Писатель резко, без всяких скидок иа «индивидуальные прнчуды н склоииости», осуждает дельцов, превратнвших искусство в бнзнес, бездарных писак, порочащих доброе имя художника слова, нзвращенные вкусы самовлюбленных формалнстов. Чего стоит, например, высокомерное суждение пустышки Шалона о «стереотнпности» Стендаля или всегдашний «умный» вопрос новоявлеиного «идеоаналитнка» Пьера Душа: «А вы когда-нибудь всматрнва-

нись в течение реки?» В рассказах Моруа их возносят на вершину славы фанатичные почитатели, крикливая мода. Поначалу ни Пьер Душ, ни Шалон не претендуют на поклонение. Слова упрека, следовательно, как бы обращены Моруа и к публике: от вас, читатели и зрители, зависит, насколько серьезно будут относиться к своей профессии люди кисти и пера.

Символико-обобщенное выражение эта критика высоколобого эстетства нашла еще раньше, в утопии Моруа «Остров эстетов». Там эстеты, в отличие от работягбеотов, — каста, не соприкасающаяся с жизнью, воображающая, что для создания произведений искусства достаточно чистой фантазии. Именно поэтому уже второе их поколение обнаруживает полное художественное бесплодие.

Кроме новелл семейно-психологических и тех, которые условно можно бы назвать «сатирическими», есть у Моруа и рассказы, построенные на необычных, странных ситуациях. Они возникли, по признанию автора, из предположения: а что было бы, если бы... Верх берет фантазия, измышляющая положения невероятные. Так появляется чудодейственная пелерина, приручающая к дому гостей («Пелерина»), ангел-хранитель жена, оберегающая мужа с небесных высей («Ангел-хранитель»), таинственная девушка-призрак, бродящая по ночам за много километров от своего дома («Дом»), часы с кукушкой, заводимые в новогоднюю ночь рукой умершей хозяйки («Кукушка»), зловещий отель, помогающий чересчур робким самоубийцам («Отель Танатос»). Чудеса, допущенные писателем, на поверку не имеют ничего общего с колдовством. Власть пелерины — не более, чем милые сердцу хозяина совпадения; рассказами о призраках и оживающих часах просто убивает время суеверная английская семья; существование отеля «Танатос» полу-

чает даже жесткое экономическое объяснение. Владельцы его, наживающиеся на своих жертвах, не боятся возмездия за столь странные услуги: семьи убитых, вымуштрованные волчьими законами бизнеса, «обычно рады случаю потихоньку прекратить деликатное и подчас неприятное дело».

Фантастическая повесть об опытах, поставленных жителями планеты Уран над нашей Землей («Жизнь людей»), затрагивает вполне насущные, земные проблемы. Ученым с далекой планеты трудно понять, как это одна каста человеческих существ соглашается кормить другую, предающуюся праздности; только полной атрофией механизма памяти могут они объяснить повторение войн. «Это зрелище отвратительное и смешное. Картины, которым мы были свидетелями, столь ужасны, что если бы эти существа имели малейший дар памяти, они избегали бы их — хотя бы в пределах нескольких поколений. А ведь за время довольно краткой человеческой жизни они дважды или трижды безрассудно возобновляют одни и те же смертоносные приключения.»

В «Жизни людей», так же как в «Острове эстетов», оживает традиция утопической фантастики Анатоля Франса и Герберта Уэллса (Моруа вообще глубокий знаток англо-саксонской культуры). Но Моруа этот жанр привлекает не надолго. Предпочтение он все-таки отдает новелле характеров, психологическому наброску — миниатюре. Своими учителями здесь он сам называет Чехова, Мериме, Мопассана, которых ценит за сосредоточенное внимание к обыденной повседневности, за умение обнажить скрытые конфликты, провидеть драматическое в банальном. Правда, он оставляет в стороне и патриотический пафос Мопассана, и чеховскую боль за несостоявшиеся жизни, и характерные для Мериме контрасты между природной красотой простого

и развращенностью «цивилизованного» человека. Моруа посвящает себя в основном изучению нравов буржуазного «света», выбирает ситуации скорее привычные или забавные, чем драматические.

Ключ к эстетическим принципам Моруа-новеллиста — название сборника «Всегда случается неожиданное». Вернее было бы сказать, не случается, а открывается, обнаруживается: у верной Одетты, оказывается, давно есть любовник («Ты — великая актриса»), достойная госпожа Бернен нечаянно выдает затаенную мечту о наследстве («Завещание»). Неожиданность такого рода — в отличие от неожиданности событийной — должна быть психологически оправдана. Читатель вслед за автором тоже становится психологом, разгадывает сложный ребус человеческого характера.

В поисках психологически достоверной неожиданности сложились многие черты стиля Моруа-новеллиста. На помощь читателю часто приходит наблюдатель-рассказчик: многие истории не развертываются перед нами сами по себе шаг за шагом, а нам *рассказаны*, причем повествователем, которому известна развязка («Ангел-хранитель», «Проклятие Золотого тельца», «Возвращение из плена», «Ты — великая актриса», «Карьера»). За исключением моментов высшего напряжения, когда «неожиданное» близится с неумолимой стремительностью и вступает в действие особая озвученность, неровный ритм фразы, течение повествования у Моруа, как правило, спокойно — в духе традиционной романической предыстории. Очень показателен, например, для стиля Моруа «Коринфский портик». Вихрь страстей в прошлом. Теперь можно вспоминать о них с задумчивой грустью. Фразы уравновешенные, круглые, как обкатанная морскими волнами галька, с частым использованием глагольных времен, дающих четкое ощущение отдален-

ности настоящего от прошлого — passé simple, plus-que-parfait:

Pendant les quarante années de leur vie conjugale, Lord et Lady Barchester avaient vécu dans la même maison de Park Lane. Mais après la guerre, ils se trouvèrent gênés. Ils avaient fait de mauvais placements; un de leurs fils avait été tué ; la veuve et les enfants restaient à la charge des parents... Trente ans plus tôt, leur vie conjugale avait été orageuse, mais la vieillesse avait amené l'apaisement, l'indulgence et la tendresse.

L'apaisement, l'indulgence et la tendresse — слова, ключевые для интонации Моруа, которому особенно дорого в человеке чувство великодушной снисходительности к другим, готовность заключить мир с жизнью — какой бы коварной она ни казалась.

В новеллах, где действие приближено к читателю и показано ему без посредника-рассказчика, пространные описания сменяются живым диалогом. Мастером диалога Моруа называет Хемингуэя и порой стремится к такому же лаконизму, не претендуя, правда, на введение философского подтекста.

Готовя последнее издание новеллы «Добрый день, милочка», Моруа придирчиво прошелся пером по всему тексту. Сняты многие авторские реплики. Поясняющие фразы обрублены. Опущены в ряде случаев уточняющие слова: «сказал», «спросил» и т. д. Диалог получает бóльшую свободу. На вопрос Сабины о чарующем аромате цветов Антуан сначала отвечал и без того довольно раздраженно: Tout simplement celle des orangers. Теперь ответ предельно лаконичен: Celle des orangers — едва сдерживаемая ярость становится еще выразительнее.

Интересно, что вся редактура Моруа, вернувшегося к тексту некоторых новелл двадцать-тридцать лет спустя, оставляет без изменений исторические реалии, но зато

настойчиво уточняет психологические нюансы отношений между персонажами: это действительно основная творческая задача, поставленная им перед собой.

Моруа-психолог, подобно любимым своим героям, умеет быть снисходительным, терпимым, ненавязчивым. Он часто обрывает себя и свой рассказ на полуслове, избегая жестких концовок и оставляя читателю свободу самому додумать дальнейшее. По словам писателя, он учился этому у Чехова, который всегда «балансирует, не заключая», и Мериме, мастера «долгих аккордов, сопровождающих вас и после чтения книги». Он хочет, подобно Сократу, быть «и справа, и слева: удары будят ум».[1] Однако аккорды, организующие новеллу Моруа, имеют несколько иной смысл, чем просто доверие к читателю, активизация его мысли, как у Чехова или Мериме. Они порождены позицией нейтральности, которую Моруа считает самой надежной. Ведя рассказ, писатель стремится попеременно принять сторону каждого героя, не давая своего окончательного суждения. К этому располагают и самые конфликты, отобранные Моруа. Они редко соприкасаются с трагедией и вызваны скорее непредвиденным стечением обстоятельств, чем злым умыслом.

И хотя общий нравственный итог новеллы Моруа достаточно отчетлив, его стремление *не судить, а объяснять* (в статьях он много раз возвращается к этим, очень важным для него понятиям — juger, expliquer, отдавая предпочтение второму), определяет настрой всего повествования. Новеллы регистрируют какой-то момент развертывания событий, эпизод; они приглашают к размышлению, не предлагая строгого заключения.

[1] A. Maurois. *Les dialogues des vivants*. P., 1959, pp. 5,7.

При этом Моруа вовсе не против «обобщений». Его «Разговор» (*La Conversation*) — своего рода свод изречений светской гостиной, где не обязательно кем-то «быть», важно выглядеть. Многие максимы Моруа «всезначны», в них отстоялся огромный житейский опыт пристального наблюдателя нравов и людей; другие социальны, рождены укладом буржуазных отношений. Но и в том и другом случае Моруа облекает «обобщение» в изящно-шутливую форму, побуждая читателя улыбаться, а вовсе не хмуриться. Афоризмами расцвечены и новеллы. Избегая морализаторства, писатель никогда не сдвигает их к финалу и предпочитает нейтральные, заботясь о том, чтобы констатировать, «как бывает», а не поучать, «как нужно». «Стоит вам предостеречь друга против женщины, в которую он влюблен, и вы потеряете друга, не повредив женщине»,— вздыхает товарищ Виктора Берто («Ангел-хранитель»); «Ничто имеет привилегию — быть неуязвимым»,— читаем в «Карьере».

Но терпимость художника имеет пределы. К людям, развращающим общество (долларовая болезнь Бордаска, модные формалистические забавы Шалона и Дюша), Моруа достаточно суров — тогда-то и возникают в его новеллах сатирические ноты. Писатель действительно понимает и «принимает» многое, но существуют рубежи, за которыми для него компромисс невозможен.

Компромисс невозможен с силами войны и реакции, компромисс невозможен с искусством, состоящим у них на службе. Художнику чужды те, кто в паническом страхе перед атомным апокалипсисом предают анафеме разум и цивилизацию, и уж совсем отвратительны «воители», предпочитающие любой пожар — революционному. «Не знаю, — говорит Моруа,— кому будут принадлежать мои сосны, когда вырастут,— очередному владельцу или

колхозу. Но Франция будет всегда. Давайте же сажать леса».[1]

Последние годы жизни Моруа увлеченно размышлял над проблемами исторического прогресса. Вместе с Арагоном он создал «Параллельную историю СССР и США» (1962); им написана там только американская часть, но дружеское отношение Моруа к нашей стране, конечно, лежало в основе этого сотрудничества. В юбилейные для нашего государства дни 1967 г. А. Моруа сказал:

«Октябрьская революция привела к созданию могучего, первого в мире социалистического государства. СССР придерживается принципов мирного сосуществования государств с различными социальными системами. Советский Союз оказывает благотворное влияние на судьбы народов, способствует делу мира на земле» («Известия», 1967, 24 августа).

За год до смерти Моруа появились его политические заметки «Вначале было дело» (*Au commencement était l'action*, 1966) и обобщающая книга «Шестьдесят лет литературной жизни» (*Soixante ans de la vie littéraire*, 1966). В 1967 — последнее прижизненное издание мемуаров. Среди неоконченных замыслов — биография Льва Толстого.

Политические прогнозы Моруа часто окрашены идеализмом, недостаточно ясным пониманием противоборства общественных сил. Но его оценки литературных явлений и задач, стоящих перед культурой, всегда мудры, точны, убедительны.

Вступая в дискуссию по поводу средств массовой информации, Моруа заставил своих коллег вспомнить, что подобных условий для общения с миллионным читателем не имели писатели прежних веков. «Культура,

[1] A. Maurois. *Choses nues*. P., 1963, p. 272.

которую называют массовой, дает современному писателю невиданные раньше возможности по воспитанию людей... Это счастье, — продолжает Моруа,— но только в том случае, если у нас есть что́ нести людям...»

В творческом труде человечества искусство, согласно твердому убеждению Моруа, будет играть с каждым годом все более высокую роль. Смерть не грозит ни роману, ни новелле, ни драме, если их целью остается человек.

Толстой, Тургенев, Чехов,— напоминает французский писатель, — достигли мировой славы потому, что умели «выражать горести и надежды большого круга читателей». Формалисты же, колдующие над формой, вроде глухарей на току, чаще терпят неудачу: они забывают, что новация хороша, когда «обновляет тему», и что, даже отбрасывая традиционные условности, приходится считаться с «физиологической спецификой наших органов чувств»[1]. Если произведение пишется вне законов времени, пространства, зрения, слуха и мысли, читателю нечего делать с таким «экспериментом». К тому же «простой человек берется за книгу вовсе не из желания повосторгаться техникой письма. Он ищет в ней нравственные ценности и новые силы, чтобы продолжать борьбу»[2]. Его запросы должен знать писатель, если собирается помочь обществу и людям стать благороднее.

К мировой культуре приобщаются новые нации, с прогрессом техники путь произведения к читателю все короче, растет авторитет художественного слова. Эта

---

[1] A. Maurois. *Dialogues des vivants*, s.d., pp. 164, 55, 20.

[2] Цит. по: J. Suffel. *André Maurois, avec les remarques par André Maurois*, P., 1963, p. 186.

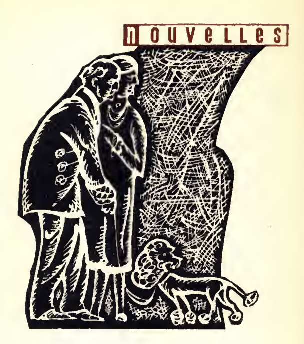
дорогая для Моруа мысль развита в ряде его литературных эссе. Среди них ответ на анкету журнала *La Nouvelle critique* — «Чему мы служим?» (1960), статья «Роль писателя в современном мире» (1963), книги «Диалоги живых» (1959), «Портрет друга, каким являюсь я сам себе» (1959), «Миссия общественных библиотек», «От Пруста до Камю» (1963) и др. «От вас, молодые писатели,— обращался Моруа к литературной смене,— зависит, будет ли через двадцать лет мир счастливее или он кончит свое существование».

Принимая ответственность за судьбы будущих поколений, Андре Моруа хотел, чтобы талант писателя был добрым, учил людей доверию, смягчал вражду.

Для нашего тревожного века, нередко идущего по грани между враждебностью и войной — это уже немало.

Т. Балашова

nouvelles



Une carrière



Dans l'atelier du peintre Beltara se réunissent le troisième samedi de chaque mois, le député Lambert-Leclerc (en ce moment sous-secrétaire d'Etat aux Finances*), le romancier Civrac et Fabert, l'auteur de ce *Caliban Roi* qui vient d'avoir, au Gymnase*, un succès de si rare qualité.

— Cet enfant, leur dit-il, a écrit un roman que je ne crois pas plus mauvais qu'un autre et que je veux, Civrac, te demander de lire. Mon cousin ne connaît personne à Paris ; il habite Bayeux*, où il est ingénieur.

— Homme heureux, dit Fabert. Vous avez écrit un livre, vous habitez la province et vous ne connaissez personne ? Votre fortune est faite, monsieur. On va se disputer l'honneur de vous découvrir, et si vous êtes attentif à bien construire votre légende, vous serez dans un an beaucoup plus célèbre que notre ami Civrac lui-même. Mais je vous donne un conseil : ne vous montrez pas... Bayeux ! Voilà qui est bien, Bayeux. Qui ne serait sympathique vu de Bayeux ? Non que vous ne paraissiez charmant, monsieur, mais il est humain de ne supporter le génie qu'à bonne distance.

— Soyez malade, dit Lambert-Leclerc, il est fait de belles carrières dans la maladie.

— Et quoi que tu fasses, dit Beltara, ne lâche pas ton métier. Un métier est un poste d'observation admirable. Si tu t'enfermes dans un cabinet de travail, dans un an tu écriras des livres de professionnel, admirablement construits et parfaitement ennuyeux.

— Imbécile ! fit la voix âpre de Civrac. « Un métier est un poste d'observation admirable. » Comment un homme intelligent comme toi, Beltara, peut-il répéter de tels clichés ? Que veux-tu qu'un écrivain observe qu'il ne puisse

trouver en lui-même ? Est-ce que Proust sortait de chez lui ? Est-ce que Tolstoï quittait ses champs ? Quand on lui demandait qui était Natacha, il répondait : « Natacha, c'est moi. » Et Flaubert...*

— Je te demande pardon, dit Beltara, Tolstoï vivait au milieu d'une immense famille et c'était un des éléments de sa force. Proust était un homme qui allait au Ritz*, qui avait des amis, et qui en tirait tout ce qu'il pouvait. Quant à Flaubert...

— C'est entendu, coupa Civrac, mais imagine Proust privé de ses thèmes mondains, il aurait trouvé autre chose à dire. Il est tout aussi admirable quand il parle de sa maladie ou de sa chambre, ou de sa vieille servante. D'ailleurs je vais te donner un exemple qui te convaincra que l'intelligence la plus vive, pourvue par le hasard des chances d'observation les plus rares, ne suffit pas à produire une œuvre. Notre ami Chalonnes... Qui eut mieux que lui l'occasion et le temps d'observer les mondes les plus divers ? Chalonnes a vu, et de près, des peintres, des écrivains, des industriels, des comédiens, des hommes politiques, des diplomates, enfin toutes les scènes les plus cachées de la comédie humaine. Qu'en a-t-il fait ? Nous le savons, hélas !

— Chalonnes, interrompit Lambert-Leclerc, que devient-il, Chalonnes ? Est-ce que l'un de vous a de ses nouvelles ?

— Nous avons le même libraire, dit Civrac, et

je l'y rencontre encore quelquefois, mais il affecte de ne pas me voir.

Le jeune provincial se pencha vers son hôte et demanda à mi-voix qui était Chalonnes.

— Civrac, dit Beltara, raconte à cet enfant la carrière de Chalonnes. Cela peut être, à son âge, un exemple utile.

Civrac se redressa, s'assit sur le bord du divan ; et de sa voix mordante, qui semblait détacher les syllabes à coups de dents, commença aussitôt un récit en forme :

— Je ne sais, monsieur, si vous avez jamais entendu parler de la Grande Rhétorique du lycée Henri IV*, la Rhétorique de 1893, aussi célèbre autour du Panthéon que la grande promotion de Normale* qui fut, vous le savez, celle de Taine*, de Prévost-Paradol*, de Sarcey* et d'Edmond About*. Cette classe fut, comme me le répète, chaque fois que je le rencontre, un de nos anciens maîtres, une « pépinière d'hommes illustres », puisqu'on y trouvait en même temps Beltara, Lambert-Leclerc, Fabert et moi-même. Lambert-Leclerc, qui se préparait déjà à la vie publique, passait avec Fabert ses après-midi aux courses...

— Respecte mon Excellence, dit le ministre.

— Ton Excellence était le seul d'entre nous dont le tempérament d'adolescent permît alors de prévoir l'avenir. Beltara ne montrait aucun

goût particulier pour le dessin, Fabert aucune aptitude pour le théâtre. Notre professeur de lettres, le père Hamelin, lui disait : « Mon pauvre Fabert, vous ne saurez jamais le français. » Jugement juste, mais qu'un public ignorant semble aujourd'hui reviser. Quant à moi, mon grand plaisir artistique était alors de dessiner Vénus sur les marges de mes cahiers. Chalonnes complétait notre groupe.

C'était un garçon blond, aux traits fins et charmants, qui travaillait peu, lisait beaucoup, choisissait à ravir ses poètes et ses cravates, et avait pris sur nous, par la sûreté de son goût, une grande autorité. Vers ce temps-là, ayant lu l'histoire des « Treize »*, nous décidâmes de fonder, nous quatre et Chalonnes, la société des « Cinq » Henri IV. Chacun des « Cinq » devait, dans la vie, soutenir les quatre autres en toutes circonstances. Il fut convenu qu'argent, influence, relations, tout ce qu'un des « Cinq » pourrait obtenir serait mis au service de la communauté. C'était un beau projet, mais ce ne fut qu'un projet, parce que la fin de nos études nous sépara. Son Excellence et moi, nous fîmes notre droit ; Fabert, qui avait besoin de gagner sa vie, entra dans la banque de son oncle ; Beltara commença la médecine. Le régiment nous dispersa* plus complètement encore, puis le hasard. Pendant six ans, nous n'eûmes les uns des autres que des nouvelles tout à fait rares.

Au Salon de 1900*, je vis pour la première fois une toile de Beltara. Je fus surpris de le retrouver peintre, plus surpris encore de constater son talent. C'est toujours avec un étonnement profond qu'on en découvre chez un ami d'enfance. L'idée que les hommes de génie ont été les camarades de quelqu'un ne nous aide pas à comprendre que l'un d'eux a pu être le nôtre. Je lui écrivis. Il m'invita à venir le voir. Son atelier me plut, j'y revins plusieurs fois et après un long échange de lettres et de télégrammes je finis par organiser un dîner des « Cinq ». Là, chacun raconta ce qu'il avait fait depuis le lycée.

Par une suite d'accidents assez curieux, trois d'entre nous s'étaient écartés de la carrière choisie pour eux par leurs parents. Beltara, ayant eu pour maîtresse un modèle, avait fait d'elle pour son propre plaisir des esquisses qui s'étaient trouvées bonnes. Cette femme l'avait amené chez des peintres. Il avait travaillé, réussi et, après quelques mois, renoncé à poursuivre ses études de médecine.

Puis, retournant dans son Midi natal, il avait peint de nombreux portraits de négociants marseillais et de leurs femmes, et avait gagné une vingtaine de mille francs qui lui avaient permis de travailler, dès son retour à Paris, pour lui-même. Il me montra des toiles qui « affirmaient un tempérament », comme disaient alors les critiques d'art.

Fabert, ayant fait jouer un acte par des amateurs pendant une soirée chez son oncle, avait reçu de grands compliments d'un vieil auteur ami de la maison. Cet homme généreux, qui l'avait pris en amitié, venait de présenter à l'Odéon* la première pièce de notre camarade : *La Steppe.* Lambert-Leclerc était secrétaire d'un sénateur de l'Ardèche*, qui s'engageait à faire de lui un sous-préfet. Moi, j'avais écrit des nouvelles dont j'imposai la lecture aux « Cinq ».

Chalonnes nous avait écoutés en silence. Il me dit sur mes premiers essais des choses fines et justes, me signala que le sujet de l'un d'eux était un renversement* d'une nouvelle de Mérimée et que mon style se rapprochait un peu trop de celui de Barrès* que j'admirais fort. Il avait vu la pièce de Fabert et lui indiqua, avec un sens étonnant de la technique théâtrale, une scène à remanier. Avec Beltara, il fit le tour de l'atelier et parla de l'impressionnisme avec une compétence proprement admirable. Puis, pour le bénéfice de Lambert-Leclerc, il analysa la situation politique dans l'Ardèche et prouva une connaissance exacte du sujet. Nous retrouvâmes tous notre impression ancienne que Chalonnes était le plus brillant de notre groupe, et c'est avec une sincère humilité que nous lui demandâmes de nous raconter à son tour le début de sa carrière.

Ayant hérité, à dix-huit ans, une fortune assez confortable il s'était installé dans un petit appartement, avec ses livres, et il y travaillait,

nous dit-il, à plusieurs ouvrages. Le premier devait être un grand roman dans la manière du *Wilhelm Meister*, de Gœthe*, et ne formait d'ailleurs que le premier volume d'une *Nouvelle Comédie humaine*. Il pensait aussi à une pièce de théâtre qui tiendrait à la fois de Shakespeare, de Molière et de Musset : « Vous comprenez ce que je veux dire, fantastique et ironique, légère et profonde. » Enfin, il avait commencé une *Philosophie de l'Esprit* « qui s'apparentait à Bergson *, me dit-il, mais allant beaucoup plus loin dans les analyses ».

J'allai le voir, et son appartement me parut, à moi qui vivais alors dans une chambre d'hôtel meublé, l'endroit le plus charmant du monde. Des meubles anciens, quelques moulages du Louvre*, une bonne copie d'un Holbein*, des rayons chargés de livres bien reliés, un dessin authentique de Fragonard *, formaient un ensemble « artiste ».

Il m'offrit une cigarette anglaise, de couleur et de saveur surprenantes. Je demandai à voir le commencement de la *Nouvelle Comédie humaine*, mais la première page n'était pas tout à fait achevée. De sa pièce de théâtre, il avait le titre ; de la *Philosophie de l'Esprit*, une douzaine de fiches. Mais il me montra longuement un petit *Don Quichotte* romantique *, avec de charmants dessins, qu'il venait d'acheter chez son voisin le bouquiniste, des autographes de Verlaine, des catalogues de marchands de tableaux. Je passai

l'après-midi avec lui ; il était un compagnon très agréable.

Ainsi le hasard avait reconstitué le groupe des « Cinq », qui devint plus solide que jamais.

Chalonnes n'ayant rien à faire, assurait la liaison. Souvent, il passait ses journées dans l'atelier de Beltara. Depuis que celui-ci avait fait le portrait de Mrs.* Jarvis, l'ambassadrice américaine, il était à la mode. Beaucoup de jolies femmes venaient se faire peindre par lui et amenaient leurs amies pour assister aux séances de pose ou pour voir l'œuvre terminée. L'atelier était plein d'Argentines aux yeux admirables, d'Américaines blondes, d'Anglaises esthètes qui comparaient notre ami à Whistler*. Beaucoup de ces femmes venaient pour Chalonnes qui les amusait et leur plaisait. Beltara, qui avait vite mesuré la puissance d'attraction de notre ami, se servait de cet appât avec adresse. Chalonnes avait là son fauteuil à lui, sa boîte de cigares à son droite, son sac de bonbons à sa gauche. Il meublait l'atelier, et, pendant les séances de pose, était chargé de distraire le modèle. Il avait aussi su se rendre indispensable par une sorte d'instinct de la composition picturale. Personne mieux que lui ne trouvait le décor et la pose qui convenaient à tel visage. Doué d'un sens rare de la beauté des tons, il indiquait au peintre un jaune ou un bleu fugitifs qu'il fallait saisir

aussitôt. « Mon vieux, tu devrais faire de la critique d'art », lui disait Beltara, émerveillé de tant de dons.

— Oui, je sais bien, répondait doucement Chalonnes, mais je ne veux pas me disperser.

Dans cet atelier, il connut Mme de Thianges, la duchesse de Capri, Celia Dawson, Mrs. Jarvis, qui l'invitèrent à dîner. Pour elles, il était un « homme de lettres », ami de Beltara, et elles le présentaient à leurs convives : « Monsieur Chalonnes, l'écrivain bien connu ». Il devint une sorte de conseiller littéraire des beautés à la mode. Elles l'emmenaient chez les libraires et le priaient d'être leur directeur de lecture *. A chacune, il promettait de dédier un des romans qui composeraient sa *Nouvelle Comédie humaine*.

Beaucoup d'entre elles lui racontaient leur vie : « J'aimerais que vous me parliez de vous, leur disait-il, parce que, pour ma grande machine, j'ai besoin de tous les rouages d'une âme de femme intelligente. » On le savait discret, il devint vite le confident des plus jolis secrets de Paris. Il fut l'homme vers lequel, dès son entrée dans un salon, manœuvraient quelques ravissants visages. Comme les femmes lui décrivaient leur âme, elles le trouvèrent bon psychologue. L'usage s'établit de dire : « Chalonnes est un des hommes les plus fins, les plus compréhensifs qui soient. »

— Tu devrais, lui dis-je un jour, écrire des romans d'analyse *. Personne ne ferait mieux

que toi une sorte de *Dominique** femelle de ce temps-ci.

— Mais oui, je sais bien, me dit-il avec l'air d'un homme accablé de besognes diverses et qui se voit obligé de refuser celles qu'il aurait eu plaisir à faire, mais oui, seulement j'ai ma grande machine et, tout de même, il faut se concentrer.

Souvent, Fabert venait le chercher à l'atelier pour l'emmener à des répétitions. Fabert, depuis le succès de son *Carnaval*, était devenu un grand homme dans les théâtres des Boulevards*. Il demandait à Chalonnes d'apporter une impression fraîche, en ces moments où acteurs et metteur en scène sont si las de tout qu'on les sent prêts à abandonner là pièce. Chalonnes s'acquittait de ce rôle de brillante manière. Il sentait le mouvement d'une scène, la courbe d'un acte, dépistait une intonation fausse, une tirade trop longue. D'abord agacés par cet inconnu, les acteurs finirent par l'adopter. Contre l'auteur, éternel ennemi, ils aimèrent cet homme qui n'était rien. Bientôt, dans le monde des théâtres, il devint assez connu, d'abord comme « l'ami de M. Fabert », puis sous son nom véritable. Des contrôleurs prirent l'habitude d'échanger avec lui un fauteuil contre un sourire. Quelques secrétaires, puis tous, l'inscrivirent sur leurs listes de « générales » *.

— Tu devrais faire de la critique théâtrale, lui dit Fabert, tu ferais ça très bien.

— Oh! bien sûr, répondit Chalonnes, mais, n'est-ce pas, chacun son métier.

L'année où les « Cinq » atteignirent ensemble leurs trente-quatre ans, j'eus le Prix Goncourt * avec mon *Ours bleu* et Lambert-Leclerc fut nommé député. Fabert et Beltara étaient déjà fort connus depuis quelque temps. Notre union n'était en rien brisée. Ainsi se trouvait réalisé sans effort le scénario romantique qui nous avait tant divertis, lycéens. Notre petit groupe étendait lentement, vers les mondes les plus différents, des tentacules puissants et bien accrochés. Nous représentions vraiment une des forces de Paris et d'autant plus efficace qu'elle n'était pas officielle.

Sans doute y a-t-il avantage à faire reconnaître un groupe artistique *de jure**. La réputation acquise par l'un des membres se trouve automatiquement additionnée, dans l'esprit du public, à celle de tous les autres et le nom du groupe, s'il est bien choisi, accroche la curiosité. Un homme cultivé de 1835 aurait été pardonnable s'il avait ignoré M. Sainte-Beuve *, mais il n'avait pas le droit d'ignorer les Romantiques. Pourtant, les inconvénients ne sont pas moins grands. La décadence est collective, comme a été la grandeur. Les doctrines, les manifestes offrent des cibles faciles. L'attaque en tirailleurs est moins vulnérable.

Nous n'exercions pas le même métier, donc aucune jalousie ne nous divisait. Nous formions

une charmante société d'admiration mutuelle. Dès que l'un de nous pénétrait dans un salon nouveau, il y faisait un éloge si vif des quatre autres qu'on le priait de les y amener. La paresse d'esprit de la plupart des hommes est telle qu'ils acceptent toujours d'un expert leurs échelles de valeurs artistiques. Fabert était un grand écrivain dramatique parce que je le disais, et j'étais « le plus profond des romanciers » parce que Fabert le répétait. Quand nous donnâmes, dans cet atelier, notre « Fête de Venise au XVIII[e] siècle » *, il nous fut facile d'y réunir tout ce qui, à Paris, vaut d'être connu. Ce fut une soirée ravissante. De très jolies femmes jouèrent une petite comédie de Fabert dans un décor de Beltara. Mais, aux yeux de tous nos hôtes, le maître de la maison était Chalonnes. Il avait des loisirs, beaucoup de grâce ; il était devenu tout naturellement le chef de notre protocole. Quand on nous disait : « Votre délicieux ami... », nous savions qu'il agissait de lui.

Il continuait à ne rien faire et je n'entends pas seulement par-là que son roman, sa pièce, sa philosophie de l'esprit n'avaient pas avancé d'une ligne ; il ne faisait rien, à la lettre. Non seulement, il n'avait jamais publié un livre, mais jamais écrit un article de revue, jamais une note dans un journal, jamais prononcé une parole en public. Ce n'était pas qu'il lui eût été difficile d'obtenir qu'on le publiât ; il connaissait, et fort bien, les meilleurs éditeurs, les directeurs de

revues. Ce n'était pas non plus, qu'il désirât, par choix libre et raisonné, demeurer un spectateur. Non, il aurait eu plutôt un goût naturel pour la gloire. C'était l'effet de causes diverses et convergentes, une nonchalance naturelle, une curiosité instable, une sorte d'impuissance à vouloir. Un artiste est toujours par quelque côté un infirme, c'est son infirmité qui le détache du réel, le force à « décoller », à survoler la vie. Chalonnes était trop bien installé dans la vie ; elle le satisfaisait entièrement. La perfection de sa paresse reflétait celle de son bonheur.

Il n'était d'ailleurs pas un écrivain qui n'appelât notre ami « mon cher confrère » et ne lui envoyât ses livres. A mesure que nous recevions les uns et les autres quelque avancement dans cette hiérarchie du monde parisien, si précise dans son apparente négligence, Chalonnes avançait lui-même et se voyait conférer en quelque sorte l'honorariat du grade* auquel l'un de nous parvenait. Nous prenions grand soin que son amour-propre fût sauvegardé en toute circonstance. Ainsi un général fraîchement promu, et un peu honteux d'un choix qu'il craint arbitraire, s'efforce de repêcher un vieux camarade de Saint-Cyr*.

Nous commencions a voir tourner autour de nous des jeunes gens qui venaient demander notre appui. Pour eux, Chalonnes, qui vivait parmi nous un égal était « mon cher maître », car c'était une génération prudente. Entre eux,

peut-être, se demandaient-ils: « Qu'est-ce qu'il a donc écrit? As-tu lu quelque chose de lui? » Quelquefois un maladroit lui faisait compliment de *l'Ours bleu* ou de *Caliban Roi*. « Excusez-moi, disait Chalonnes avec hauteur et d'un ton un peu offensé, c'est très bien en effet, seulement ce n'est pas de moi. » De nous cinq, d'ailleurs, il était le seul qui acceptât volontiers de lire des manuscrits et de donner des conseils, inutiles comme tous les conseils, mais toujours fins et sages.

Cette gloire gratuite s'était formée si lentement et par un mouvement si naturel qu'elle ne nous étonnait pas. Nous aurions été surpris et choqués si l'on avait négligé d'inviter notre ami à une de ces cérémonies officielles qui réunissent « le monde des lettres et des arts ». D'ailleurs, on ne l'oubliait jamais. Quelquefois, quand le hasard nous faisait découvrir la solitude et la pauvreté de quelque grand artiste inconnu, négligé par le public et par l'Etat, il nous arrivait de réfléchir pendant un instant à ce qu'avait de paradoxal la réussite de Chalonnes. « Oui, pensions-nous, c'est peut-être injuste, mais qu'y faire? Cela a toujours été ainsi. Et puis, l'autre a le génie; il a la meilleure part. »

Un matin, comme j'arrivais chez lui pour déjeuner, je vis dans un coin un adolescent déférent qui triait des vieilles revues. Chalonnes le présenta: « Mon secrétaire. » C'était un petit

garçon très gentil qui sortait de l'Ecole des Chartes*.

Quelques jours plus tard, Chalonnes nous dit qu'il le payait trois cents francs par mois et nous avoua que cette dépense le gênait un peu. « Mais, ajouta-t-il avec résignation, il est difficile pour des hommes comme nous de se passer de secrétaire. »

La guerre de 1914, dans toutes les vies, donna son coup de sabre. Beltara fut dragon, Fabert aviateur à Salonique*, Lambert-Leclerc, après une blessure honorable, revint à la Chambre et décrocha* un sous-secrétariat d'Etat. Chalonnes, après avoir été fantassin de deuxième classe* dans un dépôt, fut rappelé par la propagande* et termina la guerre rue François-Ier. Quand nous fûmes démobilisés, Fabert et moi, il nous rendit de grands services, car nous avions perdu le contact avec Paris pendant notre longue absence, alors qu'il avait, au contraire, formé des amitiés nouvelles et puissantes.

Beltara avait été décoré au titre militaire*. Fabert l'était depuis longtemps. Lambert-Leclerc obtint de son collègue des Beaux-Arts* que je fisse partie de la première promotion* civile qui suivit l'armistice*. Les Cinq m'offrirent un petit dîner charmant (caviar, vodka, esturgeon) dans un des restaurants russes que la révolution communiste semblait avoir exilés. Des musiciens

en caftan de soie jouèrent des airs bohémiens. Il nous sembla (était-ce un effet de la mélancolie de ces chants) que Chalonnes, ce soir-là, était un peu triste.

Je fis route avec Fabert qui habite mon quartier, et en remontant les Champs-Elysées, par une belle nuit d'hiver, nous ne pûmes parler que de lui.

— Pauvre Chalonnes ! dis-je, tout de même, il doit être pénible à son âge, de voir derrière soi un passé parfaitement vide.

— Crois-tu qu'il s'en rende compte ? me dit Fabert. Il est d'une si magnifique inconscience.

— Je ne sais pas. Je crois plutôt qu'il vit sur deux plans. Quand tout va bien, quand il est très invité, très fêté, il oublie qu'il n'a rien fait pour ça. Mais, au fond, il ne peut ne pas le savoir. C'est une inquiétude toujours présente et qui doit surgir dès que la surface devient trop tranquille... Dans une soirée comme celle-ci où vous avez tous rappelé très gentiment mon œuvre, où j'ai essayé de vous répondre, comment ne verrait-il pas qu'il n'y a rien à dire de lui ?

— Mais on peut concevoir un homme tout à fait dépourvu d'ambition et, par conséquent, de jalousie.

— Certainement, mais je ne crois pas que ce soit le cas de Chalonnes. Il faudrait pour cela, ou bien être très modeste et se dire : « Ces choses ne sont pas pour moi », ou très orgueilleux et

penser : « Je ne les désire pas. » Chalonnes désire les mêmes choses que tout le monde, mais il est plus paresseux qu'ambitieux. Je t'assure que c'est une situation douloureuse.

Ce sujet nous occupa longtemps ; chacun de nous le traitait avec une certaine complaisance. Par contraste avec tant de stérilité, notre propre fécondité nous devenait plus sensible et, de ce sentiment agréable, nous nous faisions une pitié pour Chalonnes.

Le lendemain, Fabert et moi nous allâmes voir Lambert-Leclerc au ministère.

— Nous voulons, lui dis-je, te parler d'une idée qui nous est venue hier soir après t'avoir quitté. Ne trouves-tu pas qu'il est désagréable pour Chalonnes de nous voir tous quatre décorés et de rester, lui, à l'écart ? Cela n'a aucune importance ? C'est entendu, mais rien n'est important : c'est un symbole. Et puis, justement, si cela n'a pas d'importance, pourquoi pas Chalonnes comme les autres ?

— Moi, je veux bien, dit Lambert-Leclerc, mais il faudrait des titres *.

(— Comment ? protesta le ministre du fond du divan où il était étendu, je n'ai jamais dit cette platitude.

— Oh, pardon. J'en appelle à Fabert... Tu as dit : « Il faut au moins l'apparence de titres. »

— Ça peut-être, dit Lambert-Leclerc. Je n'étais pas aux Beaux-Arts, je ne pouvais pas faire ce que je voulais, mais je vous ai dit que si Chalonnes voulait

passer chez moi, dans la promotion du ravitaillement, c'était très facile.)*

— C'était idiot, continua le narrateur. Mais je te rends cette justice que tu n'as pas insisté. A la promotion Hégésippe Moreau *, Chalonnes eut sa croix. En lui demandant de signer la demande, j'eus la maladresse de lui dire (parce que j'étais un peu agacé de voir qu'il semblait considérer la chose comme naturelle) que nous avions eu un peu de mal à enlever l'affaire.

— Vraiment ? dit-il. J'aurais cru, au contraire, que c'était fort simple.

— Oui, si tu avais des titres...

Mais sa surprise fut si évidente que je détournai la conversation.

Ses amis et admirateurs lui offrirent un petit banquet. Lambert-Leclerc avait amené le ministre de l'Instruction publique, qui se trouvait être un homme d'esprit. Il y avait deux académiciens, plus un Goncourt *, des actrices, des gens du monde. Tout de suite on sentit l'atmosphère excellente. L'homme est plutôt un animal bienveillant quand il n'est ni jaloux ni inquiet. Chalonnes, qui ne gênait personne, était sympathique à tout le monde et puisque l'occasion se présentait de coopérer à son bonheur, on était très heureux de le faire. Au fond de leur cœur, tous ceux qui étaient là savaient bien que le héros de cette fête n'était rien autre chose que la fiction

de lui qu'ils avaient formée. Ils lui savaient gré de ne tenir son existence que de leur faveur et goûtaient dans l'éclat étrange de sa fortune la preuve certaine de leur puissance qui avait tiré cette gloire du néant. Louis XIV aimait assez les hommes qui lui devaient tout, et toutes les élites sont royales par ce trait.

Au dessert, un poète dit des vers charmants. Le ministre fit un petit discours « sur un ton de jolie blague émue », auraient noté les Goncourt ; il parla de l'influence discrète et profonde de Chalonnes sur la littérature française contemporaine, de son talent de causeur, de Rivarol*, de Mallarmé*. Toute la table debout l'acclama. Puis Chalonnes répondit avec beaucoup de grâce et de modestie. On l'écouta dans une atmosphère d'émotion vraiment gentille et fine. Enfin il y a des fêtes sympathiques et celle-là le fut entièrement.

En sortant, j'emmenai Chalonnes dans ma voiture et je lui dis :

— C'était très bien.

Il eut un sourire heureux.

— Oui, n'est-ce pas, me dit-il. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai senti tout le monde très sincère.

Il avait raison.

Ainsi la carrière de Chalonnes s'ouvrit superbe et droite comme une route royale*,

devant nos yeux satisfaits. Pas une tache, pas un échec ; c'est le privilège du néant d'être parfaitement invulnérable. Déjà nous pouvions prévoir la rosette de notre ami, sa cravate ; déjà, dans certaines maisons amies, on parlait de l'Institut *. La duchesse de T... avait timidement suggéré ce projet à un académicien, grand faiseur d'élections, qui avait répondu : « Nous y pensons, mais ce serait un peu prématuré. » Le visage de Chalonnes se parait de plus en plus de cette sérénité si belle que donnent seules la plus pure sagesse ou la plus complète oisiveté, lesquelles, d'ailleurs, se confondent peut-être.

C'est vers ce temps-là que Mrs. Pecks commença de s'intéresser à lui. Gladys Newton Pecks était une riche et jolie Américaine qui, comme presque toutes les Américaines riches et jolies, vivait (et d'ailleurs vit encore) la plus grande partie de l'année en France. Elle a un appartement rue François-Ier et une maison dans le Midi. Son mari, William Newton Pecks, étant président de l'Universal Rubber Company * et de plusieurs chemins de fer, ne passe sur le Continent * que ses vacances.

Nous connaissions tous depuis longtemps Gladys Pecks, qui s'était toujours consacrée avec passion à la littérature, à la peinture, à la musique modernes. Elle s'était beaucoup occupée de Beltara au moment des débuts de celui-ci. Elle lui avait acheté des toiles, lui avait fait faire son portrait et lui avait fait commander ce

portrait de Mrs. Jarvis qui avait été son lancement*. Pendant deux ans elle n'avait parlé à ses amis que de Beltara ; elle avait donné des dîners Beltara, organisé des expositions Beltara et, enfin, l'avait invité à passer un hiver dans sa maison de La Napoule* pour qu'il pût travailler en paix.

Puis le succès était venu et le succès marque toujours la fin des grandes amitiés de Mrs. Pecks. Elle est remarquablement intelligente, mais elle apporte dans son amour des choses de l'art, les sentiments de certains spéculateurs en Bourse, qui ont horreur des valeurs classiques et ne s'attachent qu'à des petites actions encore inconnues du grand public, mais sur lesquelles ils ont, eux, des renseignements confidentiels et sûrs. Elle aime l'écrivain sans éditeur, l'auteur dramatique obscur qu'on joue trois fois dans un théâtre d'avant-garde, le musicien du type Eric Satie avant le temps des disciples*, ou l'érudit, spécialiste d'un sujet difficile, comme les livres religieux de l'Inde* ou la peinture primitive chinoise.

Jamais d'ailleurs les hommes qu'elle patronne ne sont nuls, ni même médiocres. Elle est adroite, et elle a du goût. Mais la crainte du vulgaire, du banal, peut l'écarter de l'excellent. Je ne conçois pas Gladys Pecks aimant Tolstoï ou Balzac. Elle s'habille parfaitement, chez la meilleure couturière, mais cesse de porter une robe, même ravissante et qu'elle aime, dès qu'elle la

sait copiée. Ses écrivains et ses peintres sont traités de la même manière ; elle les donne à sa femme de chambre quand ses amies les ont compris.

Je crois que je porte la responsabilité de l'avoir lancée sur la piste * Chalonnes. J'avais été placé à côté d'elle, un soir à dîner chez Hélène de Thianges. Nous en étions venus, je ne sais comment, à parler de lui et j'avais dit : « Non, il n'a jamais rien publié, mais il a de grands projets et même quelques travaux esquissés. »

— Vous les avez vus ?

— Oui, mais je serais incapable de vous en parler. Ce sont à peine des notes.

Je ne l'avais pas fait exprès, mais c'était exactement ce qui pouvait le plus au monde allécher une Mrs. Pecks *. Tout de suite après le dîner, elle bloqua Chalonnes dans un coin et, malgré les efforts d'Hélène qui aime bien que dans son salon les groupes se fassent et se défassent, elle ne le lâcha plus de la soirée. Je les observais de loin. « J'aurais dû prévoir cela, me disais-je... Mais bien sûr, Chalonnes est l'auteur idéal pour Gladys Pecks. Elle cherche l'inédit, l'hermétique, que peut-on rêver de plus fermé que le public de Chalonnes, qui n'en a pas, de plus inédit que son œuvre qui n'a jamais été écrite ? Le physicien qui raréfie de plus en plus l'air contenu dans un ballon tend vers le vide absolu ; Gladys Pecks en raréfiant chez ses amis successifs la matière de l'œuvre tendait vers le

néant. Avec Chalonnes, elle le trouve. C'est une admirable consécration de carrière pour l'un et pour l'autre et j'ai sans doute fait deux heureux. »

En effet, dès le lendemain commença la période Chalonnes de la vie de Gladys Pecks. Il fut convenu qu'il dînerait chez elle trois fois par semaine, qu'elle irait chez lui voir ses manuscrits, qu'elle l'emmènerait l'hiver suivant à La Napoule, « pour qu'il pût travailler en paix ». Pendant quelques jours, j'avais été un peu effrayé par l'idée du premier contact entre Gladys Pecks et les manuscrits de Chalonnes. Il me semblait que, même pour elle, ces manuscrits étaient trop minces. C'était une faiblesse de ma part et une erreur de jugement. Je la vis dès le lendemain de son premier inventaire, elle était enthousiasmée : « *There is more in this* *... il y a plus de substance, me dit-elle, dans les projets de votre ami que dans l'œuvre épaisse d'Henry James *... » Tout allait bien.

Cette lune de miel spirituelle dura deux mois environ, pendant lesquels Gladys Pecks annonça à tout Paris qu'elle s'occupait de faire publier les œuvres d'un grand méconnu, qui était notre Chalonnes. Elle avait trouvé un éditeur ; elle cherchait un traducteur anglais. Elle présenta Chalonnes à tous les étrangers illustres qui traversaient Paris, à George Moore *, à Pirandello *, à Hofmannsthal *, à Sinclair Lewis *. Puis, ayant épuisé tous les modes d'agitation pos-

sible à son sujet, elle réclama un texte à Chalonnes.

Elle se serait contentée de la moindre chose, un essai, une plaquette, quelques pages. Chalonnes qui, naturellement, n'avait pas plus travaillé pendant ces deux mois qu'à son habitude, ne pouvait rien lui donner et le lui dit avec une sérénité que rien n'avait encore altérée. Mais Gladys Pecks n'était pas femme à laisser un génie en friche. Dix fois déjà dans sa vie elle avait pris un de ces petits hommes obscurs, pauvres, timides, qui ont on ne sait pourquoi le don mystérieux d'écrire, de peindre, de composer, et en quelques mois elle en avait fait un homme illustre, recherché, adulé. Elle trouvait dans ces transmutations des plaisirs vifs. Elle avait en ses pouvoirs de choix et de lancement une confiance grande et légitime. Elle avait entrepris le dressage de Chalonnes et bon gré, mal gré, Chalonnes allait produire.

Je ne sais comment elle s'y prit, flatterie sans doute, promesses peut-être (coquetterie, je ne crois pas, car j'ai toujours connu Gladys froide et parfaitement pure), mais je reçus un matin une visite embarrassée de Chalonnes.

— Je voudrais ton avis, me dit-il... Gladys Pecks me propose de mettre à ma disposition pour l'hiver sa maison de La Napoule pour que je puisse travailler tranquillement. Je t'avoue que je n'ai pas très envie de quitter Paris... Et puis en ce moment, je ne me sens pas en forme...

Seulement ça lui ferait plaisir ; elle est très emballée par mon roman et il est assez tentant de penser que, peut-être, en quelques mois de solitude, je pourrais l'achever.

« Achever » son roman me parut un curieux euphémisme, car je ne savais pas qu'il l'eût jamais commencé ; mais, comme cela était dit avec un grand sérieux, je me gardai de relever le mot *.

— Eh bien, lui dis-je, je suis enchanté ; Mrs. Pecks a mille fois raison. Tu as certainement un grand talent, tu prodigues chaque jour dans de simples conversations des chapitres entiers d'un libre brillant. Si la sollicitude d'une femme, une atmosphère de confiance, d'admiration te permettent d'exprimer enfin tout ce que nous savons si bien que tu as à dire, nous en serons tous très heureux... Accepte, mon vieux, tu me feras plaisir... Tu nous feras plaisir à tous.

Il me remercia et, quelques jours plus tard, vint m'annoncer qu'il partait. Nous n'eûmes de lui, pendant l'hiver, que quelques cartes. En février, j'allai le voir à La Napoule.

La maison des Pecks est très belle, ils ont fait restaurer le petit château-fort provençal qui domine le golfe. Le contraste entre la rudesse des abords, des extérieurs, et le confort presque incroyable des appartements donne une impression de féerie. Les jardins sont en terrasse, très

ingénieusement truqués *, car il a fallu, pour les construire, au flanc d'un rocher, rapporter des masses énormes de béton. Les Pecks ont fait venir, à grands frais, d'Italie, des cyprès qui encadrent de leurs hautes masses décoratives ce paysage artificiel et agressif. Quand j'arrivai, le butler * me dit que monsieur travaillait et me fit attendre assez longtemps.

— Ah! mon cher, me dit Chalonnes, quand enfin il me reçut, je ne savais pas ce que c'était que le travail. J'écris dans la joie, dans l'abondance. Les idées m'entourent, m'assiègent, m'étourdissent. Ma plume ne peut pas aller assez vite pour noter les images, les souvenirs, les réflexions qui jaillissent de ma mémoire. Est-ce que toi aussi tu éprouves ça ?

J'avouai avec humilité que ces crises de surabondance étaient chez moi plutôt rares ; j'ajoutai qu'il me paraissait naturel qu'il fût plutôt que moi le sujet élu pour une telle visitation et que son long silence avait dû lui permettre d'accumuler des matériaux comme aucun de nous n'avait pu le faire.

Je passai toute la soirée avec lui. (Mrs. Pecks était encore à Paris.) Je le trouvai curieusement changé. Un de ses grands charmes avait été jusqu'alors l'extrême variété de sa conversation. Pour moi qui ai peu le temps de lire, il était précieux de trouver en Chalonnes un homme qui lisait tout. C'était par lui que j'avais découvert les plus intéressants des jeunes. Comme il

sortait tous les soirs, soit au théâtre, soit dans le monde, personne à Paris ne connaissait plus d'histoires, plus de drames intimes, plus de mots amusants. Surtout Chalonnes était un des rares amis avec qui on pût toujours parler de soi, de son travail, en sentant qu'on l'intéressait vraiment et que pendant votre discours il ne pensait pas à lui-même. Tout cela était très agréable.

Or le Chalonnes de La Napoule, tel que je le retrouvais, était devenu tout différent. Depuis deux mois il n'avait pas ouvert un livre, il n'avait vu personne. Il ne parlait plus, à la lettre, que de son roman. Je lui donnai des nouvelles de nos amis. Il m'écouta un instant, puis sortit de sa poche un petit carnet et prit une note.

— Qu'est-ce que tu fais ? lui dis-je.

— Oh ! rien, c'est une idée que je viens d'avoir pour mon livre et que je ne veux pas laisser échapper.

Un instant après, comme je lui citais un mot d'un des modèles de Beltara, le carnet reparut :

— Encore ! Mais c'est une manie.

— Mon cher, c'est que j'ai un personnage qui par certains côtés tient de Beltara. Ce que tu viens de me dire peut m'être très utile.

Il avait le terrible professionnalisme des néophytes, le zèle des convertis. J'avais sur moi quelques chapitres de mon nouveau livre, que

j'avais apportés pour les lire à Chalonnes et pour avoir son avis, comme je le faisais toujours. Il me fut impossible d'obtenir qu'il m'écoutât ; je décidai qu'il était devenu ennuyeux, insupportable. Il acheva de m'irriter en jugeant des maîtres que nous avions toujours respectés avec une légèreté dédaigneuse.

— Tu trouves ? disait-il. Le naturel de Stendhal ? Oui... Ça t'épate tant que ça, toi ? Au fond, c'est roman-feuilleton tout de même, tant *la Chartreuse* que *le Rouge* *. Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux...

Je fus presque heureux de le quitter.

Quand je revins à Paris, je reconnus tout de suite les admirables qualités de « manager » * de Gladys Pecks. On parlait déjà beaucoup du livre de Chalonnes et on en parlait comme il convenait. Nulle trace de cette réclame grossière et tapageuse qui écarte les délicats. Il semblait que cette femme eût trouvé le secret de la publicité mystérieuse et qu'elle sût projeter sur un nom comme une obscure clarté. Paul Morand * disait d'elle qu'elle avait ouvert l'hermétisme.

De tous côtés, on me demandait : « Vous venez du Midi ? Vous avez vu Chalonnes ? Il paraît que c'est remarquable, son bouquin. »

Gladys Pecks passa le mois de mars à La Napoule et nous dit que le livre était presque achevé, mais que Chalonnes n'avait rien voulu

lui montrer. Il disait que son œuvre formait un tout, que ce serait la déflorer dangereusement que d'en laisser voir des fragments isolés.

Enfin, au début d'avril, elle nous apprit que Chalonnes rentrait et que, sur sa demande, elle nous convoquait à venir passer un de nos samedis soir chez elle pour entendre la lecture du roman.

Cette lecture ! Je crois qu'aucun de nous ne l'oubliera de sa vie. Le salon de la rue François-Ier avait été préparé avec un art parfait de la mise en scène. Toutes les lumières était éteintes, sauf une grosse lampe de Venise dont la lumière laiteuse éclairait doucement le lecteur, le manuscrit et une adorable branche de prunus * placée derrière Chalonnes dans un vase chinois. Le téléphone avait été coupé. Les domestiques avaient reçu l'ordre de ne nous déranger sous aucun prétexte. Chalonnes était nerveux, faussement gai, assez fat, Mrs. Pecks radieuse et triomphante. Elle l'installa, lui donna un verre d'eau, régla l'abat-jour ; il mit de grosses lunettes d'écaille, éclaircit sa voix et enfin commença.

Au bout de dix phrases déjà, Fabert et moi nous nous regardions. Il y a des arts où l'erreur est possible, où la nouveauté de la manière, de la vision, peuvent étonner et fausser le jugement, mais un écrivain se révèle en quelques mots. Or, tout de suite, le pire nous fut révélé : Chalonnes ne savait pas écrire, mais pas du tout. Encore un

enfant peut-il avoir de la naïveté, du naturel. Mais Chalonnes écrivait platement, niaisement. De cet homme si fin, si averti, nous aurions attendu peut-être un excès de complication. C'était tout le contraire, un roman de midinette *, avec un côté didactique, ennuyeux et puéril. La révélation de la nullité de la forme avait été suivie, après deux chapitres, par celle de la nullité du sujet. Nous nous regardions avec désespoir. Beltara haussait imperceptiblement les épaules et me disait des yeux : « Crois-tu ! » Fabert secouait la tête et semblait murmurer : « Est-ce possible ? » Moi, je regardais Gladys Pecks. Se rendait-elle compte, elle aussi, de la valeur réelle de ce que nous entendions ? Elle avait commencé par écouter avec complaisance, mais très vite s'était agitée avec inquiétude et, de temps à autre, elle me regardait d'un air interrogateur : « Mais quelle catastrophe ! pensais-je. Que lui dire ? »

La lecture dura plus de deux heures pendant lesquelles aucun des auditeurs n'ouvrit la bouche. C'est si pathétique un mauvais livre, et si transparent. Des intentions excellentes y paraissent avec une si enfantine maladresse. On y découvre si largement l'âme naïve de l'auteur. En écoutant Chalonnes, je m'émerveillais de trouver soudain en lui tout un univers de déceptions, de mélancolie, de sentimentalité « rentrée ». Je me disais qu'il serait bien amusant d'écrire un livre dont le héros serait lui-même

l'auteur d'un mauvais roman, et de donner tout entier le texte de ce roman, lequel ouvrirait sur le personnage des perspectives nouvelles et surprenantes. Chalonnes lisait et son attendrissement, sous l'épouvantable maladresse de la forme, faisait penser aux amours touchantes et ridicules d'un monstre.

Quand il eut fini, le silence se prolongea encore un instant ; nous espérions que Gladys Pecks nous sauverait. Après tout, elle était chez elle et elle avait voulu cette soirée. Mais elle semblait sombre et hostile. Beltara, qui doit à son Midi natal un sang-froid héroïque, vit enfin qu'il lui fallait se dévouer et improvisa une tirade convenable. Il mit notre mutisme au compte de notre émotion, remercia Mrs. Pecks, sans laquelle ce beau livre n'aurait jamais été écrit et se tournant vers moi, conclut : « Civrac sera certainement très fier de le porter à son éditeur. »

— Oh ! dis-je, le mien ou un autre... Je crois que Mrs. Pecks...

— Pourquoi un autre ? dit vivement Chalonnes. Non, le tien me plaît beaucoup, il est très adroit. Si tu veux te charger de la démarche, tu me feras plaisir.

— Mais certainement, mon cher, rien de plus facile.

Le silence de Mrs. Pecks devenait pénible. Elle sonna, fit apporter de l'orangeade, des petits fours. Chalonnes chercha des raisons plus précises d'être heureux.

— Qu'est-ce que vous pensez du personnage d'Alice ?

— Admirable, dit Beltara.

— N'est-ce pas que la scène de réconciliation est très vraie ?

— C'est la meilleure, dit Beltara.

— Ah non ! dit Chalonnes. Je ne crois pas que ce soit la meilleure. La meilleure, c'est peut-être la rencontre de Georgiana et de Silvio.

— Tu as raison, dit Beltara conciliant, elle est encore plus belle.

Mrs. Pecks m'emmena dans un coin.

— Je vous en prie, me dit-elle, soyez sincère. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Tout à fait ?

Je fis un signe affirmatif.

— Mais comment est-ce possible ? continua-t-elle. Si j'avais pu penser... Il paraissait si intelligent.

— Mais il est très intelligent, chère Mrs. Pecks. Création et conversation sont deux domaines si différents. On peut tellement se tromper.

— *No, no,* dit-elle, *it's unforgivable**... Il ne faut surtout pas qu'il publie. Après tout ce que j'ai annoncé... Il faut lui dire, n'est-ce pas, que c'est imbécile, que c'est honteux ?

— Attendez, je vous en prie. Vous ne savez pas le mal que vous allez faire. Demain, seul à seul, j'essaierai. Ce soir, épargnez-le, je vous assure que c'est nécessaire.

Le lendemain, à la première tentative que je fis pour critiquer un point de détail, Chalonnes

accueillit ma timide et légère observation avec une telle colère, un tel mépris, je sentis une sensibilité tellement à vif que je perdis tout courage. Une expérience déjà longue m'avait enseigné la vanité de telles entreprises. Pourquoi jouer une fois de plus le Misanthrope, acte I, scène II *? Je savais que je m'attirerais le : « Et moi je vous soutiens que mes vers sont fort bons » et que je n'aurais pas la cruauté de donner la réplique. Mieux valait battre en retraite tout de suite. Je partis, son manuscrit sous le bras et allai le porter à mon éditeur à qui je le remis sans aucun commentaire, disant simplement que le livre était de Chalonnes.

— Vraiment? me dit-il. C'est le livre de Chalonnes ? Mais je suis ravi de l'avoir. J'en avais beaucoup entendu parler. Je vous suis très reconnaissant, cher ami, d'avoir pensé à moi. Est-ce que vous ne croyez pas que je ferais bien de lui faire signer tout de suite un contrat de dix ans ?

Je l'engageai à attendre un peu. Je conservais quelque espoir qu'il lirait le livre et le refuserait. Mais vous savez comment ces choses se passent. Mon nom, celui de Chalonnes lui suffisaient; il envoya le manuscrit à l'impression sans autre lecture et cette nouvelle consola Chalonnes de l'attitude de sa protectrice.

Mrs. Pecks avait attendu trois jours pour donner à mes démarches le temps de produire

leur effet. Quand elle avait connu le résultat, elle m'avait, en protestante honnête et dure, sévèrement reproché ma faiblesse et avait écrit à Chalonnes une lettre sèche qu'il nous avait montrée le lendemain avec une indignation stupéfaite. Longtemps il avait cherché le motif auquel il devait attribuer un jugement aussi injuste. Il finit par s'arrêter à une idée tout à fait absurde, mais qui le dispensait d'être humilié : il imagina que Gladys Pecks s'était reconnue dans un personnage d'Anglaise un peu ridicule qui figurait dans son livre. Sur quoi il retrouva sa sérénité et ne pensa plus à elle.

Trois mois plus tard, le livre parut.

La presse ne fut pas mauvaise. Chalonnes était trop sympathique à tous pour qu'on voulût lui faire une peine inutile. Les critiques amis citèrent le livre discrètement, les autres se turent.

Mais la critique orale se fit avec une brutale rapidité. Pendant quelques jours je ne pus rencontrer personne qui ne me dît : « Et Chalonnes ? Avez-vous vu ça ? Ce n'est pas permis !... » En un mois tout Paris sut, sans avoir lu, qu'il était inutile de lire. Aux devantures des libraires, les belles couvertures jaunes devinrent citron pâle, puis noircirent lentement. A la fin de l'année l'édition presque entière était revenue chez l'éditeur, qui perdait sa mise et que Chalonnes accusait de l'avoir volé.

Car l'insuccès l'avait beaucoup aigri. Il divisait

maintenant l'humanité en deux classes : « Ceux qui ont été bien pour mon livre. »— « Ceux qui n'ont pas été bien pour mon livre. » Cela rendait la vie sociale très difficile. Quand on voulait organiser un dîner :

— Pas celui-là, disait Chalonnes. Je ne puis le souffrir.

— Pourquoi ? disait Fabert. Il a beaucoup d'esprit et il n'est pas méchant.

— Lui ? disait Chalonnes. Il ne m'a même pas écrit pour mon livre.

Cet homme si modeste et si agréable était devenu d'une vanité insupportable. Il avait toujours dans sa poche un entrefilet élogieux, que j'avais obtenu à grand-peine, et il le lisait aux gens qu'il rencontrait. Quand un critique énumérait les romanciers de talent de notre génération il s'étonnait de ne pas trouver son nom : « Ce Bidou * est un misérable ! » disait-il. Ou bien : « Je n'aurais pas cru ça de Jaloux *... » Bientôt, comme les fous qui, après avoir accusé tout le quartier de les persécuter, finissent par voir des ennemis en leur femme même et en leurs enfants, il s'avisa que les Cinq n'avaient pas été vraiment bien pour son livre et il s'éloigna lentement de nous.

Peut-être, dans un milieu nouveau, moins informé, trouvait-il encore cette confiance respectueuse et gratuite que nous lui avions si longtemps accordée. Trois fois de suite, il manqua à nos réunions. Beltara lui écrivit et ne

reçut pas de réponse. Enfin il fut décidé que je serais envoyé auprès de lui comme ambassadeur des Quatre.

— Parce qu'en somme, le pauvre bougre, disions-nous, ce n'est tout de même pas sa faute s'il n'a pas de talent.

Je le trouvai chez lui et il me reçut, mais avec beaucoup de froideur.

— Non, non, me dit-il, la vérité est que les hommes sont infects et que vous ne valez pas mieux que les autres. Tant que j'ai été pour vous un conseiller, un admirateur béat, vous avez été mes amis. Dès que j'ai voulu produire moi-même, dès que toi surtout, tu as senti en moi un rival possible, tu as fait le silence autour de mon œuvre.

— Moi ? lui dis-je. Si tu savais au contraire le nombre des démarches que j'ai faites pour toi...

— Oui, je sais comment on enterre les gens en ayant l'air de les encenser...

— Mais, bon Dieu, Chalonnes ! Tu es tout de même trop injuste. Souviens-toi du jour où tu es venu me raconter que tu allais partir pour La Napoule, que tu voulais enfin travailler. Tu hésitais, tu n'étais pas en forme ; si je t'avais retenu, tu restais. Mais je t'ai au contraire, encouragé, félicité...

— Justement, dit-il. Et c'est ce que je ne vous pardonnerai jamais à Gladys Pecks et à toi.

Il se leva, alla vers la porte, l'ouvrit pour me montrer que l'audience était terminée et me fit sortir sur ce mot admirable :

— Vous m'avez fait gâcher ma carrière.

* * *

Et le plus beau, dit alors Beltara, le plus beau, c'est que cela était vrai.

1926

Tu es une grande artiste



Les sentiments que m'inspirait Robert Fabert avaient toujours été complexes. Je n'aimais pas son cynisme ; j'admirais sa verve. Ses pièces m'irritaient ; je reconnaissais leur force dramatique. Son égoïsme me choquait ; j'étais touché qu'il me prît pour confident. Son coup de téléphone matinal, parfois interminable, m'impatientait ; s'il restait trois jours sans m'appeler, il me manquait.

Ce matin-là, il fut bref et pressant :

— Mon cher, vous seriez gentil si vous aban-

donniez ce que vous êtes en train d'écrire et faisiez un saut jusqu'ici. J'ai quelque chose de très urgent à vous dire.

— Vraiment, Robert, vous abusez de mon amitié et de ma patience... Trois fois par semaine, vous me réquisitionnez... le plus souvent pour des choses minuscules et vaines... Je viens de commencer un article... Laissez-moi le droit d'avoir une vie personnelle !

Après cinq minutes de discussion, je sentis que je perdrais moins de temps en y allant ; il m'aurait tenu, si j'avais refusé, toute la matinée au téléphone. Il habitait alors près de chez moi. Un quart d'heure plus tard, j'entrai dans son bureau. Tout de suite il prit son ton le plus caressant. Je savais, par longue expérience, que si Fabert faisait un compliment, c'était toujours un placement. Quel dividende attendait-il de celui-là ?

— Mon cher, dit-il, je viens de lire votre papier sur Ménétrier*. C'est une merveille de pénétration, de goût, de style ! Vous êtes, à la lettre, le *seul* critique de ce temps...

— Merci. Qu'avez-vous à me demander ?

— Voici... Je ne sais si vous connaissez Mme Astier... Mme Adrien Astier.

— Vous me l'avez présentée vous-même ; elle est bien belle.

— N'est-ce pas ? C'est une petite bourgeoise, mais elle a un éclat, une fraîcheur, et même de l'esprit, mon cher... Bref j'en suis fou.

— Pour deux mois ou deux semaines ?

— Le temps ne fait rien à l'affaire... Ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, je ne vois plus qu'elle au monde... Or il se présente une occasion unique de faire avec elle un voyage en Espagne... Oui... Elle a envie de voir l'Andalousie ; le mari, qui fait des affaires en Extrême-Orient, va être absent deux mois... Tout pourrait s'arranger au mieux de mes désirs... Mais il y a Odette... Pauvre petite Odette, je lui avais promis solennellement de passer les vacances de Pâques en famille, à Beauvallon *. Voilà trois ans que je n'ai fait un séjour un peu long avec elle et les enfants... Elle va être désespérée.

— Sans doute, mais je ne vois pas pourquoi c'est à moi...

— Pourquoi ?... Parce que vous seul, mon cher, pouvez me rendre le service de la convaincre... Odette a en vous, je le sais, une entière confiance... Si vous lui expliquez que, ma prochaine pièce se passant en Espagne...

— Vous avez besoin, pour la couleur locale, d'y amener une Française ? Ah ! non, je ne me charge pas d'expliquer ça... N'oubliez pas que je suis l'ami d'Odette, autant et plus que le vôtre... Si elle a, comme vous le dites et comme j'aime à le croire, confiance en moi, c'est que j'ai toujours été loyal envers elle ; vous me proposez une déloyauté.

— Une déloyauté ! Point du tout, mon cher... J'estime au contraire que, comme ami d'Odette,

vous lui rendrez un considérable service... Réfléchissez... Supposons qu'elle n'accepte pas, qu'elle fasse un drame de cette petite fugue... Qu'arrivera-t-il ? Que notre ménage se brisera... Pauvre petite Odette, elle en mourrait... Et alors, qui l'aurait assassinée ? Vous...

Cet homme de théâtre savait assez bien conduire une scène. Je compris vite qu'une fois encore je ne retrouverais la paix qu'en cédant.

— Bien... Je verrai Odette, mais je ne vous promets pas de plaider votre cause... Je l'exposerai ; rien de plus.

— Vous ne la combattrez pas ? C'est tout ce que je vous demande... Je vais faire appeler Odette ; je vous laisserai seul avec elle et vous lui parlerez librement.

J'essayai d'obtenir un délai. En vain. Fabert, comme les héros de ses drames, était avide, autoritaire. Il appuya sur un bouton, prit le téléphone et dit à sa secrétaire : « Priez Mme Fabert de venir à mon bureau, immédiatement. » Puis il se leva et sortit. Quelques instants plus tard, Odette entra.

— Tiens ! Vous êtes là, Bertrand ? Quelle bonne surprise ? Qu'avez-vous fait de Robert ? Il vient de me faire appeler.

— Oui, chère Odette. C'était pour que nous ayons, vous et moi, une conversation.

— Une conversation ? Quel est ce mystère ? Robert vous a chargé pour moi d'un message ?

— Exactement.

Sur quoi je m'efforçai de la préparer, avec tact, à la mauvaise nouvelle. Je dis que Robert était épuisé, que sa santé me donnait de l'inquiétude, que sa pièce n'avançait pas, qu'il avait besoin d'être seul quelques semaines dans le décor même qu'il avait choisi. Elle m'écouta d'abord en souriant, puis rit franchement.

— Aimable Bertrand ! dit-elle. Quel mal il se donne pour m'annoncer, sans blesser mon malheureux cœur, que Robert souhaite faire un voyage en Espagne avec sa nouvelle conquête et qu'il me laissera seule pendant un mois.

— Comment ? Vous le saviez ?

— Je ne le savais pas ; je le prévoyais et vos circonlocutions, cousues de câble blanc*, ont confirmé mon attente... Heureusement ! Car figurez-vous, Bertrand, que moi aussi, j'ai besoin d'un mois de liberté...

— Pour aller à Beauvallon avec vos enfants ?

— Point du tout... Pour aller voir les îles grecques* avec un ami très cher qui veut bien m'offrir cette croisière... Je confierai les enfants à ma mère et je jouirai tranquillement de mes vacances conjugales... Ne prenez pas cet air stupéfait et accablé, Bertrand ! Vous ne me croyez pas capable d'inspirer un amour ?

— Si... Bien sûr... Mais je croyais que vous aimiez Robert d'un amour malheureux et fidèle.

— Ce fut longtemps vrai et, aujourd'hui encore, je tiens à Robert... J'admire son génie, sinon son caractère... Je tolère ses caprices ;

j'estime que j'ai droit à des compensations... Vous ne trouvez pas ?

— Heu... Oui, sans doute... Qui sera votre heureux compagnon de voyage ?

— Cher Bertrand, je suis plus discrète que mon mari.

— Et que diable voulez-vous que je lui dise ?

— Rien n'est plus simple. Dites-lui que le message dont vous étiez chargé m'a bouleversée ; que vous m'avez adroitement consolée ; que vous m'avez conseillé de faire, pour échapper à mon chagrin, une croisière en Méditerranée, peut-etre avec une amie ; et qu'enfin vous m'avez laissée triste, en larmes, résignée.

— Vous pensez qu'il le croira ?

— Robert croit, avec une étonnante facilité, tout ce qui est flatteur pour son amour-propre.

Elle avait raison. Non seulement il accueillit bien cette réponse et ce projet, mais il me joua, sincèrement, une belle scène d'attendrissement dont sa femme était l'émouvante héroïne.

— Pauvre petite Odette ! Elle est sublime ! Je ne crois pas, mon cher, qu'il existe en notre temps pareil exemple d'abnégation conjugale. Pensez qu'elle va parfois jusqu'à me dire : « Parle-moi de cette femme que tu aimes. Tout ce qui te touche m'intéresse. » Tenez, je la vois très bien, pendant cette croisière en Méditerranée, allant s'asseoir, toute seule, à la proue du navire pour regarder les étoiles et penser à mon bonheur... A mon bonheur avec une autre...

Vous pouvez dire ce que vous voudrez, mon cher, mais je trouve plus beau de susciter un tel sentiment que d'éveiller une jalousie passionnée.

— Mais *vous* êtes jaloux, dis-je.

— Furieusement.

Il demeura un instant rêveur, puis reprit :

— Cela ferait un bon début de pièce, hein ?... La scène entre vous et moi... Celle entre Odette et vous... Ce sacrifice total, sans emphase... Naturellement, il faudrait que « votre » personnage fût amoureux d'Odette... Il essaierait de profiter de la situation, mais se heurterait à la pureté de cette femme extraordinaire...

— Je n'ai même pas eu cette idée.

— Je le sais bien... Vous connaissez Odette... Mais dans la pièce...

Il fit le voyage en Andalousie et Odette le voyage aux îles grecques, d'où elle revint bronzée, brillante de santé, éclatante de bonheur. Je les revis tous deux en juin. Fabert, après le déjeuner, m'emmena dans son bureau.

— Et bien ! cette pièce, je la fais, dit-il. C'est décidé.

— Quelle pièce ?

— Quelle pièce !... Mais celle dont nous avions parlé ensemble, celle qui commence par une scène avec vous au sujet d'Odette... Titre : *la Victime...* Le premier acte est écrit ; il était d'ailleurs facile à faire. La réalité me fournissait presque tout.

— La réalité ?... Ce serait bien dangereux... J'espère que vous avez transposé ?

— Naturellement... Je sais mon métier... La transposition est instinctive... J'ai fait du héros, c'est-à-dire de moi, un peintre donjuanesque, et de vous, que dans la pièce j'appelle Bernard, un sentimental...

— Où est la transposition ? Vous êtes, en fait, donjuanesque et je suis sentimental.

— Oui, mais tous les détails matériels sont différents... Les difficultés commencent avec le second acte. Là je ne sais plus où je vais. Je pense que Bernard tentera sa chance, qu'il sera sur le point de réussir parce que Juliette (l'Odette de la pièce) voudra une revanche... Puis, au dernier moment, elle se reprendra et, malgré le ressentiment, son amour l'emportera.

— Son amour pour vous ?

— Evidemment... Reste le troisième acte... Je suis encore dans le noir *, mais il me semble qu'il faudra faire intervenir la maîtresse du héros et son mari... Ce mari préparerait une vengeance quelconque et Juliette, se jetant héroïquement entre lui et sa propre rivale... ou entre lui et le héros... sauverait celui-ci.

— Vous ne trouvez pas ça un peu mélo ?

— Si on le raconte, comme je viens de le faire, en trois mots, alors oui... Mais tout est dans l'exécution. Mes personnages sont modernes, parlent notre langue et agissent comme vous et moi le ferions... Le mélo, dans l'intrigue, ne me

déplaît pas... C'est l'essence même du théâtre... Le dialogue sauvera tout et franchement, pour le dialogue, je ne crains personne !

Il était exact que, pour le dialogue, il ne craignait personne et je le reconnus de bonne grâce. Je demandai encore :

— Et Mme Astier ?

— Quelle Mme Astier ?

— Celle qui vous accompagnait à Grenade * et qui est à l'origine de cette pièce.

— Ah ! Pepita... Oui, c'est le nom que je lui donnais parce que nous étions en Espagne... C'était une femme exquise...

— C'était ?... Qu'est-elle devenue ?

— Comment le saurais-je ? En ce qui me concerne, l'épisode est terminé... Elle a retrouvé Pepito, je suppose... Mais elle se survivra dans *la Victime*... Tiens, il faudra que je la revoie, cette pauvre Pepita, pour deux ou trois détails du rôle... Elle avait une façon si gracieuse de rejeter ses mules en se mettant au lit... Je lui demanderai de montrer le mouvement à l'actrice qui jouera le personnage.

L'été passa. Au mois d'octobre, j'appris que *la Victime* allait entrer en répétitions. C'était Jenny Sorbier (alors jeune et célèbre comédienne) qui devait jouer Juliette. Fabert me demandait souvent d'assister aux répétitions de ses pièces. Non qu'il me reconnût une particulière compétence, mais il pensait qu'un œil neuf découvre mieux certaines invraisemblances. Je venais

volontiers, aimant le travail précis du théâtre et la familiarité laborieuse des coulisses. J'allais voir, ce jour-là, une répétition plus curieuse et plus agitée qu'aucune de celles auxquelles j'avais jusqu'alors assisté. Dans la grande salle vide, à peine éclairée, Fabert me fit asseoir à côté de lui sur un fauteuil d'orchestre. Il semblait soucieux.

— Je ne sais pas ce qu'il y a, dit-il, ça ne marche pas... Jenny qui, d'habitude, comprend à demi-mot mes intentions, paraît cette fois rebelle... Il lui arrive même de dire faux... ce qui, chez elle, est tout à fait surprenant... Je suis embêté, mon cher... D'ailleurs vous allez voir.

Sur la scène presque nue, un acteur vint s'asseoir devant un bureau Empire*. C'était celui qui jouait le rôle de Fabert. Il eut une courte scène avec la secrétaire ; celle-ci annonça le comédien qui m'incarnait. J'éprouvai, en l'entendant, une fort curieuse impression... Fabert s'était servi de mes tics de langage* et avait indiqué à l'interprète certains de mes gestes familiers. Le dialogue me parut naturel et rapide. Puis Jenny entra en scène. J'écoutai avec un intérêt passionné, d'abord parce que j'étais l'un des acteurs du drame original, mais surtout parce que je me demandais comment Fabert imaginait cette conversation. Je savais, moi, ce qu'elle avait été. Il croyait, lui, qu'une Odette (ou plutôt une Juliette) désespérée avait fait, par amour, un sacrifice douloureux.

Telle était, en effet, la scène que Jenny attaqua devant nous : « *Vous ne pouvez pas comprendre* », disait le personnage-Juliette, « *son bonheur est mon bonheur. Son plaisir est mon plaisir...* » Cela continuait sur ce ton que Jenny, comme Fabert m'en avait averti, soutenait très mal. Deux ou trois fois, il l'interrompit pour lui demander d'y mettre plus de passion. Elle parut essayer, ne réussit pas, puis s'énerva et, sur une nouvelle observation de l'auteur, se fâcha. Elle vint à l'avant-scène, mit sa main en abat-jour pour masquer la rampe qui l'aveuglait et chercha des yeux Fabert dans la salle :

— Vous êtes là, Robert ?... Ah ! oui, je vous vois... Qui est avec vous ?

— Bertrand.

— Et bien ! montez tous les deux... Il faut que je vous parle.

— Après la répétition, dit Fabert... Enchaînez.

— Non ! Il n'y aura pas de répétition. Nous avons une mise au point à faire, l'auteur et moi, et je ne jouerai plus avant cette nécessaire explication.

— Elle est folle ! me dit Fabert, de l'air le plus convaincu.

— Pourquoi folle ? Jenny est la comédienne la plus intelligente et la plus consciencieuse de Paris. Ce qu'elle veut vous dire mérite certainement d'être entendu.

— Que peut-elle avoir à dire ? Elle doit jouer son rôle tel qu'il est écrit... C'est tout... Je ne suis

pas un débutant qui demande conseil à ses interprètes.

Sur le plateau, Jenny s'impatientait :

— Vous venez ou vous ne venez pas ? Parce que moi...

Je pris l'initiative de répondre :

— Nous venons.

Je poussai Fabert, grondant et grommelant, vers le petit escalier provisoire qui, pendant les répétitions, relie la scène à la salle et au sommet duquel Jenny, son rôle à la main, nous attendait.

— Alors quoi ? dit Fabert... Qu'est-ce qu'il y a ?

— Il y a que je ne *peux pas* dire ce texte... Il y a que votre bonne femme est invraisemblable ou, en tout cas, qu'elle l'est pour moi... Je ne la comprends pas, je ne la sens pas, je ne la jouerai pas... Comment ? Voici une femme à laquelle on vient annoncer, très maladroitement d'ailleurs, que son mari va partir avec une autre, qui adore ce mari et dont la seule réaction est de répondre : « *Très bien... Pourvu qu'il soit content, je suis contente.* » Ça n'existe pas... Enfin, voyons, Robert, Dieu sait que vous avez connu des femmes, d'innombrables femmes... En avez-vous jamais rencontré une qui soit, quand elle se sent vraiment amoureuse, ce mouton bêlant ?

— Une seule, dit-il fièrement, mais c'est celle-là que je peins dans *la Victime*... Et en fait, cette scène que vous dites invraisemblable est une scène authentique. Pour une fois, j'ai tout

emprunté à la vie et, par une heureuse rencontre, j'ai ici un témoin irréfutable : c'est Bertrand qui a été l'interlocuteur, dans une scène réelle, de la femme que vous incarnez...

Jenny se tourna vers moi :

— Alors c'est vous, dit-elle, qui êtes responsable de ces niaiseries ? Vous avez entendu de telles répliques ?... Ça n'est pas possible... Ou la femme était une idiote (et alors ce n'est pas un rôle pour moi), ou elle jouait une comédie et feignait la grandeur d'âme parce qu'elle-même, de son côté, s'apprêtait à jouir glorieusement de sa liberté... En ce cas, elle redeviendrait humaine, mais ce serait une autre pièce.

J'étais placé dans une position embarrassante. Jenny avait cent fois raison ; elle avait retrouvé, par intuition d'artiste, l'attitude qu'avait eue, dans la vie, la véritable Juliette. Seulement je ne pouvais le lui dire sans trahir, à la fois, Robert et Odette. Je me tus.

— Mais enfin répondez ! dit Jenny. Avez-vous, oui ou non, connu cette Juliette ? Et si oui, comment l'expliquez-vous ?

— Oui, insista Fabert, parlez, Bertrand.

Je ne sais plus très bien ce que je répondis. Je me souviens de phrases commencées et non achevées, des vains efforts pour nuancer le personnage et pour le justifier aux yeux de Jenny, sans le compromettre aux yeux de Fabert. Le tout ne fut certainement pas convaincant car Jenny, triomphante, s'écria :

— Eh bien ! Vous voyez !... Bertrand ne croit pas plus que moi à la pureté, à la résignation de Juliette...

— Je ne dis pas cela.

— Vous n'osez pas le dire, mais vous le laissez si clairement entendre...

Depuis un instant, Fabert s'était écarté de nous. Je le regardai et son aspect m'effraya. Il allait, arpentant la scène, du côté cour au côté jardin, en secouant la tête avec violence, tantôt passant les mains dans sa crinière léonine et tantôt se rongeant les ongles avec fureur. Soudain il vint vers moi, les bras tendus, l'index en avant, les yeux menaçants :

— J'ai compris ! dit-il. Jenny dit la vérité. *Vous* avez menti. Je me suis conduit comme un enfant. Je me suis adressé à l'amant d'Odette pour une démarche que seul pouvait faire un ami. Car je vous croyais mon ami...

Il eut un éclat de son fameux rire, qui ressemblait à un hennissement, un rire de théâtre digne de Frédérick Lemaître* ou de Garrick*. Je me mis à mon tour en colère :

— J'étais votre ami, je le suis encore, mais je suis aussi celui d'Odette... Son ami, pas son amant... Et vous le savez bien... Est-ce ma faute si vous m'avez placé dans une situation impossible ?

— Donc vous avouez qu'Odette vous avait fait des confidences que vous m'avez cachées ?

— Je n'avoue rien du tout ; je dis seulement que ma position, entre vous deux, était difficile.

Mais déjà il ne m'écoutait plus. Il marcha vers le fond de la scène, en prononçant des mots que je ne compris pas, puis revint vers Jenny et moi, le visage détendu, presque souriant. Il plaça deux mains énormes sur les épaules de Jenny et la regarda avec une tendresse admirative :

— Tu es une grande artiste, dit-il... Très grande... Tu as compris, par ton seul instinct de comédienne, que ce que je te demandais de dire n'était ni vrai, ni vraisemblable... Et moi, qui suis aussi un grand artiste, dès que tu m'as indiqué le chemin, je l'ai suivi, contre mon sentiment, contre mon orgueil... J'ai vu, dans un éclair, la vérité... Et je vais la peindre.. Ce sera *très* beau... Maintenant il faut refaire cette pièce et je te promets que cette fois, tu auras un rôle à ta mesure *, un rôle que tu aimeras.

— J'en suis certaine, dit Jenny qui semblait émue.

— Quant à vous, me dit-il, quant à vous... Eh bien ! vous m'aiderez.

A ce moment le concierge du théâtre se montra timidement et dit à Fabert :

— Madame fait dire qu'elle est à la porte, avec la voiture...

On entendit le fameux rire :

— Madame est en bas ?... Demandez-lui de monter jusqu'ici.

Un instant plus tard, Odette parut, toute joyeuse :

— Tiens ! dit-elle, je suis admise aujourd'hui... Et Bertrand aussi ?... Ça va si bien que ça ?... Bonjour, Jenny.

Fabert la regardait en secouant la tête :

— Tu es une petite garce, dit-il... mais je t'aime bien... Et toi aussi, tu m'aimes bien... Oui, que tu le veuilles ou non, tu n'aimes que moi... Je vais écrire, ma petite Odette, la plus belle pièce de ma vie.

— Je ne comprends pas, dit-elle, mais je te crois.

Fabert ne travaillait pas souvent ; il faisait, chaque année, une seule pièce et l'achevait en trois ou quatre semaines. Mais, quand il était au travail, il s'y donnait tout entier. D'abord il racontait son sujet à tous ceux qu'il rencontrait, pour essayer des effets. Il contait bien, imitait les voix, mimait les expressions et trouvait son inspiration dans le mouvement du récit. Puis, quand il se croyait sûr de son scénario, il dictait des scènes à une secrétaire, habituée à saisir les phrases au vol tandis qu'il marchait dans son bureau, en occupant successivement les places de tous les interprètes. Enfin il relisait le brouillon et, à ce moment, me consultait parfois. La nouvelle version de *la Victime* me parut excellente. Avec un surprenant courage, il était

allé jusqu'à l'extrême pointe d'une situation pour lui pénible. Cela faisait un drame fort et vrai, avec de nombreux aspects de comédie qui allégeaient la tension et formaient, avec les scènes violentes, d'heureux contrastes.

Je n'étais pas présent quand il lut la pièce à Jenny, mais je rencontrai celle-ci quelques jours plus tard :

— Vous connaissez le second état de *la Victime* ? me demanda-t-elle... C'est vraiment bien, non ?... Depuis deux ou trois ans, les sujets de Fabert ne m'enchantaient plus... Je trouvais ses personnages inhumains, mais cette fois, chapeau * ! La vie même... à peine stylisée.

— Contente de votre rôle ?

— Ravie... c'est facile à dire, à vivre... Pas de problème.

Les répétitions marchèrent aisément et vite. Fabert m'y convia quelquefois et il m'arriva d'y rencontrer Odette. Je ne l'avais pas revue seule depuis la découverte, par son mari, de la situation réelle. Ensemble, au théâtre ou dans le monde, ils semblaient parfaitement naturels et ne faisaient aucune allusion à un dissentiment quelconque entre eux. Bientôt la « générale » de *la Victime* fut annoncée. Une rumeur de succès enveloppait la pièce ; le personnel du théâtre : habilleuses, machinistes, électriciens disaient leur confiance.

La représentation fut un long triomphe. Jenny était très aimée du public et les critiques

exigeants, qui souvent reprochaient à Fabert le caractère sommaire de ses héros, reconnurent qu'il avait été, avec *la Victime*, plus loin que jamais dans la peinture des passions.

Quand le rideau, après douze rappels, se fut enfin baissé pour la dernière fois, les amis se ruèrent dans les coulisses. Avançant difficilement, à petits pas, dans un corridor encombré, j'écoutais les conversations des gens qui me pressaient de tous côtés. Beaucoup avaient identifié les modèles :

— Etonnant !... Quoi ? Jenny est arrivée à parler tout à fait comme Odette Fabert.

— Oui, et c'est d'autant plus remarquable que les deux femmes se ressemblent si peu.

— Et Bertrand ?... Hallucinant* !... Jusqu'à sa manière de marcher...

— Faites attention, mon vieux, il est derrière vous.

Quand la vague qui me soulevait déferla dans la loge de Jenny, où se tenait aussi Robert et Odette, une amie, maladroite ou féroce, dit à celle-ci :

— Je vous ai bien reconnue.

Odette éclata d'un rire sincère et gai.

— Moi ? dit-elle... Mais je ne joue aucun rôle dans cette histoire.

— Comment ?... Et Juliette ?...

— Juliette ne me ressemble pas plus que vous à *la Dame aux camélias**.

Puis, se tournant vers Fabert qui, debout à

côté d'elle, porté par son triomphe, accueillait les compliments avec une sérénité olympienne, elle murmura :

— Tu as entendu cette sotte ? Il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est une œuvre d'art.

— Chère Odette ! dit-il.

Et se penchant vers sa femme, il l'embrassa.

Mme Astier, absente de Paris, avait reçu deux fauteuils de balcon, mais n'assistait pas à la répétition générale de *la Victime.*

Bonsoir, chérie



— Où vas-tu, Antoine ? dit Françoise Quesnay à son mari.

— Je vais jusqu'à la poste, pour faire recommander cette lettre et pour promener Mowgli... La pluie a cessé ; le ciel se découvre au-dessus de Menton * : ça va s'arranger.

— Oh ! Françoise... Pourquoi ?... La politique de son mari me fait horreur et elle...

— Ne grogne pas, Antoine... Tu ne vas pas me dire que Sabine te déplaît !... Au temps où je t'ai connu, elle était à peu près fiancée avec toi.

— Justement... Je ne pense pas qu'elle m'ait jamais pardonné de t'avoir préférée... Et puis je ne l'ai pas vue depuis quinze ans ; elle doit être une matrone mûrissante...

— Sabine n'est pas une matrone, dit Françoise, elle a exactement trois ans de plus que moi... Et, en tout cas, les regrets sont vains... Sabine et son mari seront ici à huit heures.

— Tu aurais pu me consulter... Pourquoi as-tu fait ça ?... Tu sais que ça m'est désagréable.

— Bonne promenade ! dit-elle gaiement, et elle sortit très vite de la chambre.

Antoine se sentit frustré de sa querelle. C'était la tactique habituelle de sa femme que de fuir devant les discussions. Marchant dans les allées du Cap, entre les pins obliques et anguleux, il médita :

— Françoise devient insupportable... Elle savait très bien que je ne désirais pas voir ce couple... Aussi s'est-elle gardée de me parler de son projet... De plus en plus, elle recourt à la tactique du fait accompli... Et pourquoi invite-t-elle Sabine Lambert-Leclerc ? Parce que, seule avec moi et les enfants, elle s'ennuie... Mais *qui* a voulu vivre dans ce pays ? *Qui* m'a contraint à quitter Pont-de-l'Eure, mes affaires, ma famille

et à prendre, tout jeune, une retraite que je ne souhaitais pas ?...

Quand il commençait la revue de ses griefs, elle durait longtemps. Antoine avait aimé sa femme avec passion ; il l'aimait encore sensuellement et, aurait-on pu dire, esthétiquement. Il pouvait regarder sans lassitude, pendant toute une soirée, ce nez fin, ces yeux clairs et moqueurs, ce visage aux traits purs. Mais comme elle l'irritait parfois ! Pour choisir des meubles, des robes, des fleurs, Françoise avait un goût exquis. Envers les êtres humains, elle manquait de tact. Antoine éprouvait des sentiments douloureux quand Françoise blessait un de leurs amis. Il se sentait à la fois responsable et impuissant. Longtemps il lui avait fait des reproches, qu'elle supportait mal et auxquels elle ne prêtait guère attention, sûre d'être pardonnée le soir, quand il aurait envie d'elle. Puis il l'avait acceptée telle qu'elle était. Après dix ans de mariage, il savait qu'elle ne changerait plus.

— Mowgli, ici !...

Il entra dans le bureau de poste. Au retour, sa méditation sur Françoise devint plus sombre. Etait-elle même fidèle ? Il le croyait, mais qu'elle eût été plusieurs fois coquette, et même imprudente, cela était trop certain. Aurait-il été plus heureux avec Sabine Lambert-Leclerc ? Il revit ce jardin de Pont-de-l'Eure où Sabine le recevait, adolescent. Toute la ville les disait fiancés et eux-mêmes, sans en avoir jamais parlé entre

eux, étaient convaincus que ce mariage se ferait.

— Elle avait un tempérament de feu, pensa-t-il, se souvenant de la façon dont elle se serrait contre lui quand ils dansaient ensemble.

Elle était la première jeune fille avec laquelle il se fût montré hardi, sans doute parce qu'il la devinait consentante. Il l'avait beaucoup désirée. Puis Françoise avait paru et, soudain, toutes les autres avaient pour lui cessé d'exister... Maintenant il était lié à Françoise. Dix ans de vie commune. Trois enfants. La course était courue.

Quand il la retrouva dans le salon, si fraîche dans une robe de mousseline à fleurs vives, il oublia sa rancune. C'était Françoise qui avait fait cette maison, ce jardin que les visiteurs admiraient. C'était Françoise qui l'avait obligé à quitter Pont-de-l'Eure et l'usine, quelques années avant la crise de 1929*. Si l'on pesait équitablement toutes choses, elle lui avait plutôt porté bonheur.

— Est-ce que Micheline et Bacot dînent à table ? demanda-t-il.

Il le souhaitait, préférant la conversation de ses enfants à celle des étrangers.

— Non, dit-elle, j'ai pensé que ce serait plus gentil d'être nous quatre... Arrange ta cravate, Antoine...

Gentil, encore un mot qu'il détestait. « Non, ce ne sera pas *gentil* », se dit-il en renouant sa cravate devant la glace. Sabine allait être pointue ; Françoise, coquette avec Lambert-Leclerc ;

le ministre autoritaire et dogmatique ; lui-même, Antoine, silencieux et sombre.

— Gentil !...

On entendit la voiture dont les roues, au coup de frein, patinaient dans le gravier. Les Quesnay prirent un air négligemment actif. Une minute plus tard, un couple entra. Sabine avait des cheveux noirs, un peu crépus, des épaules grasses, de beaux yeux. Lambert-Leclerc devenait très chauve ; trois cheveux barraient son crâne, comme des obstacles une piste ; il semblait de mauvaise humeur. A lui aussi sans doute, ce dîner avait été imposé.

— Bonsoir, chérie, dit Françoise en embrassant Sabine. Bonsoir, monsieur le ministre...

— Ah ! non, chérie ! dit Sabine, tu ne vas pas « ministrer » mon mari... Tu m'appelles Sabine ; appelle-le Alfred... Bonsoir, Antoine.

La soirée fut si tiède et si limpide que Françoise fit servir le café sur la terrasse. La conversation, pendant le dîner, n'avait pas été facile. Les femmes s'ennuyaient. Antoine têtu, mécontent de lui-même, contredisait imprudemment Lambert-Leclerc qui, mieux informé, marquait tous les points.

— Vous êtes optimiste parce que vous êtes au pouvoir, disait Antoine... En fait la situation de la France est tragique...

— Mais non, mon cher, mais non... Les questions d'argent ne sont jamais tragiques... Les

budgets de la France sont en déficit depuis six siècles et il est bon qu'il en soit ainsi... Il faut bien ruiner, de temps à autre, les rentiers... Sans cela, où irions-nous ?... Imaginez des fortunes placées à intérêts composés depuis Richelieu *...

— Le budget de l'Angleterre est, lui, en équilibre, grommela Antoine. Il présente même des excédents et les Anglais, que je sache, ne s'en portent pas plus mal...

— Cher ami, dit Lambert-Leclerc, je n'ai jamais compris cette rage qu'ont les Français de comparer deux pays qui n'ont ni la même histoire, ni les mêmes mœurs, ni les mêmes besoins... Si la France souhaitait réellement un budget en équilibre, nous le lui donnerions demain... Elle ne le veut pas... Ou, si vous préférez cette formule, elle ne le veut pas assez pour en vouloir aussi les moyens... Préparer un budget, ce n'est pas une question financière, c'est une question politique... Dites-moi avec quelle majorité vous voulez gouverner ; je vous dirai, moi, quel budget vous pouvez bâtir... Les services du Ministère des Finances sont prêts à vous faire un budget socialiste, un budget radical, un budget réactionnaire... Il suffit de parler !... Tout cela est tellement plus simple que ne le croient les profanes.

— Est-ce si simple ?... Et oseriez-vous dire de telles choses à vos électeurs ?

Françoise savait reconnaître à des signes imperceptibles, à un durcissement soudain des

yeux, la montée des colères de son mari. Elle intervint :

— Antoine, dit-elle, tu devrais descendre avec. Sabine jusqu'au cloître, pour lui montrer la vue...

— Allons-y tous les quatre, dit Antoine.

— Non, non, dit Sabine. Françoise a raison... Il faut séparer les menages... C'est tellement plus amusant.

Elle se leva. Antoine dut l'imiter et la suivre, non sans jeter à Françoise un regard furieux qu'elle ne voulut pas voir.

— Tout ce que je craignais ! pensa-t-il. Me voici, pour une demi-heure, seul avec cette femme... Va-t-elle en profiter pour me demander une explication qu'elle attend depuis dix ans ?... Ce sera gai !... Quant à Françoise, souhaite-t-elle que ce ministre, si content de soi, lui fasse la cour ?

— Quelle est cette odeur divine ? demanda Sabine Lambert-Leclerc.

— Celle des orangers. La pergola sous laquelle nous étions assis est faite d'orangers, de citronniers, de glycines et de rosiers... Mais nos roses deviennent sauvages ; il faudra les regreffer... Suivez la petite allée qui descend...

— Est-ce que vous ne devenez pas sauvage, vous aussi, Antoine, dans votre solitude ?

— Moi ?... J'ai toujours été sauvage... Est-ce que vous voyez un peu, malgré l'obscurité ? Des deux côtés de ce bassin de faïence, ce sont des

massifs de cinéraires... Le thème de tout le jardin est l'opposition de fleurs sombres, violettes ou bleues, avec des notes très vives de jaune... Du moins telle était l'idée de Françoise... Ici, sur la pente, elle a voulu créer une sorte de maquis : genêts, lentisques, cystes *, asphodèles...

— Je suis contente de vous revoir seul, Antoine... J'aime tendrement votre femme mais tout de même, nous avons été de grands amis, vous et moi, avant que vous la connaissiez... Vous en souvenez-vous encore ?

Prudemment, il ralentit le pas pour ne pas se trouver trop près d'elle.

— Mais naturellement, Sabine... Comment ne m'en souviendrais-je pas ?... Non, allez droit devant vous ; traversez le petit pont ; voici le cloître... Ces fleurs entre les dalles ? Ce sont des pensées, tout simplement...

— Vous rappelez-vous ce bal du Cercle qui fut mon premier bal ?... Vous m'aviez ramenée chez moi, dans la voiture de votre grand-père... Mes parents étaient déjà couchés ; nous sommes entrés ensemble dans le petit salon ; sans dire un mot, vous m'avez enlacée et nous nous sommes remis à danser, gravement.

— Est-ce que je ne vous ai pas un peu embrassée ce soir-là ?

— Un peu !... Nous nous sommes embrassés pendant une heure!... C'était bien agréable... Vous étiez mon héros.

— Comme j'ai dû vous décevoir !

— Au début de la guerre, vous m'avez au contraire éblouie... Vous étiez merveilleux... Je savais vos citations par cœur... Je les sais encore : je pourrais vous les réciter... Ensuite, lorsque vous avez été blessé et que, pendant votre convalescence, vous vous êtes fiancé avec Françoise Pascal-Bouchet, oui, très franchement, j'ai été déçue !... Que voulez-vous ? Je vous admirais *tant*... Lorsque je vous ai vu épouser cette jeune fille que je connaissais bien, qui avait été ma camarade de classe à Saint-Jean, qui était charmante mais un peu so-sotte (je vous demande pardon, Antoine), j'ai été surprise, attristée... Et pas seulement moi : toute la ville...

— Mais pourquoi ?... Nous étions du même monde, Françoise et moi, et parfaitement assortis... Regardez, Sabine : cette muraille semée de lumières, c'est le rocher de Monaco... Ne vous penchez pas trop ; la terrasse est à pic sur la mer... Attention, Sabine !...

D'un mouvement involontaire, il la retint par la taille ; avec une surprenante rapidité, elle se retourna et lui planta, en pleines lèvres, un baiser.

— Tant pis, Antoine... J'en avais trop envie... Il est plus difficile de se tenir à distance d'une chair déjà familière... Vous souvenez-vous de nos baisers, au tennis ?... Oh ! je vois que je vous choque ! Vous êtes resté très Quesnay... Je suis sûre que vous avez été un mari fidèle ?

— Prodigieusement fidèle... Immaculé...

— Pendant dix ans? Pauvre Antoine!... Et vous avez été heureux?

— Très heureux.

— Alors tout est pour le mieux, mon petit Antoine... Ce qui est curieux, c'est que vous n'avez pas l'air heureux.

— A quoi voyez-vous cela?

— Je ne sais pas... Quelque chose en vous d'impatient, d'irritable, de désœuvré... Tout de même, Antoine, vous étiez un Quesnay de Pont-de-l'Eure, c'est-à-dire un être actif, un chef... Et vous vivez ici, loin de votre métier, de vos amis... Je sais bien que vous avez tout sacrifié aux goûts de votre femme... Mais il n'est pas possible que vous ne le regrettiez pas?

— Peut-être, au début, ai-je souffert de ce départ. Mais j'ai trouvé ici d'autres moyens de m'occuper. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire... Je travaille... J'ai même publié quelques livres, qui ont eu un certain succès.

— Un *certain* succès? Mais ils ont eu beaucoup de succès, Antoine, et ils sont remarquables... Surtout votre *Louis XI*...

— Vous les avez lus?

— Si je les ai lus? Cent fois!... D'abord parce que, moi aussi, j'adore l'histoire... Et puis aussi parce que je vous y cherchais. Je suis restée très curieuse de vous, Antoine... Et je vous tiens pour un excellent écrivain... Non, je n'exagère pas. J'ai même été frappée, je vous l'avoue, pendant

tout le dîner, par le silence de Françoise sur ce côté de votre vie... A deux ou trois reprises, mon mari a essayé de vous parler de vos livres; chaque fois, Françoise a coupé... Elle devrait, semble-t-il, être fière...

— Oh! il n'y a là aucun sujet de fierté... Seulement c'est vrai que Françoise ne s'intéresse pas du tout à ce genre de travaux. Elle lit plutôt des romans... Et surtout elle est artiste à sa manière : elle l'est pour ses robes, pour l'ordonnance de son jardin... Pensez que c'est elle qui a réglé ici la place de la moindre touffe de fleurs... Depuis que la crise a touché Pont-de-l'Eure, nos revenus ont baissé. Françoise fait tout elle-même.

— *Françoise fait tout! Françoise a tant de goût!* Ce qui est amusant, c'est qu'il le croit!... Mais vous êtes trop modeste, Antoine... Moi, j'ai connu Françoise jeune fille... Elle avait beaucoup moins de goût qu'aujourd'hui, ou du moins elle avait ce goût excessif des Pascal-Bouchet, pour les bibelots, pour les ornements... Quelque chose de mièvre... C'est vous qui l'avez formée et qui lui avez enseigné la beauté des lignes simples, de l'ordre... Et surtout c'est vous qui lui avez donné les moyens de mener ce train... La robe qu'elle porte ce soir est jolie, parfaitement choisie, mais n'oubliez pas, mon cher, que c'est une robe de Schiaparelli... Cela rend le goût assez facile.

— Détrompez-vous, Sabine... C'est une robe

que Françoise a faite, avec sa femme de chambre.

— Ah ! çà non ! Mon petit Antoine, il ne faut pas raconter ces choses-là à une femme... Il y a une technique du biais, une perfection des nervures... Et d'ailleurs Schiaparelli se réserve l'exclusivité de ses imprimés : ce mélange de boutons d'or et de pervenches n'existe que chez elle... Peu importe d'ailleurs...

— Cela importe malheureusement plus que vous ne pensez... Je vous ai dit que nous n'avions plus les mêmes revenus que jadis... Nous en sommes même très loin ! Pont-de-l'Eure ne me donne plus rien et Bernard écrit que cela peut durer ainsi plusieurs années... Mes livres se vendent assez bien... J'écris quelques articles... Tout de même, la pauvre Françoise n'aurait guère les moyens de s'habiller dans les grandes maisons.

— Alors, c'est prodigieux, mon petit Antoine... Incroyable, mais prodigieux... Il faut que je m'incline... D'ailleurs j'ai toujours eu, moi aussi, une sorte de faiblesse pour Françoise... Et je n'ai jamais compris pourquoi les gens ne l'aiment pas.

— Est-ce que les gens ne l'aiment pas ?

— Ils la détestent... Vous ne le saviez pas ?... J'ai été frappée de retrouver, à Nice, les mêmes jugements sur elle qu'à Pont-de-l'Eure.

— Que lui reproche-t-on ?

— Oh ! Toujours les mêmes choses... D'être

égoïste, coquette avec les hommes, un peu perfide avec les femmes... Très dissimulée... Et puis de manquer de tact... Moi, je l'ai toujours défendue. Déjà au temps où nous étions ensemble internes à Saint-Jean, je disais : Françoise Pascal-Bouchet vaut beaucoup mieux qu'elle n'en a l'air... C'est ce ton factice et cette voix désagréable qui vous hérissent contre elle...

— Vous trouvez qu'elle a une voix désagréable ?

— Antoine !... C'est vrai qu'après dix ans, vous ne devez plus l'entendre... D'ailleurs ce n'est pas sa faute ; je ne lui en veux pas... Non, ce que je lui pardonne plus difficilement, c'est d'avoir un mari tel que vous et...

— Et quoi ?

— Non, rien...

— Vous n'avez pas le droit, Sabine, de commencer une phrase qui paraît chargée de sous-entendus et de vous arrêter... Vos informateurs disent-ils aussi que Françoise a eu des amants ?

— Vous parlez sérieusement, Antoine ?

— Avec un terrible sérieux, je vous assure...

— Vous savez bien, mon cher, qu'on en dit autant de toute jolie femme... Mais qui sait ?... Il peut y avoir fumée sans feu... Françoise est imprudente... Quand je pense qu'à Pont-de-l'Eure, elles ont été jusqu'à l'accuser d'être la maîtresse de votre frère !

— De Bernard ?

— Oui, de Bernard.

— C'est complètement idiot... Bernard est la loyauté même.

— C'est ce que je n'ai cessé de répondre... Françoise ne sait pas quelle bonne avocate elle a en moi. Qu'est-ce que cette touffe blanche qui brille au clair de lune ?

— Des liserons.

— C'est ravissant. Ce sont les lys des champs de l'Evangile, n'est-ce pas ?

— Non, je ne crois pas... Voulez-vous que nous allions rejoindre les autres ?

— Vous êtes bien pressé, Antoine... Moi, je resterais volontiers avec vous toute la nuit, dans ce jardin.

— J'ai un peu froid.

— Donnez votre main... Mais c'est vrai qu'elle est glacée !... Voulez-vous la moitié de ma cape ?... Dire que nous avons failli vivre ainsi, serrés l'un contre l'autre... Vous ne l'avez jamais regretté, Antoine ?

— Que voulez-vous que je réponde, Sabine ?... Et vous ? Etes-vous heureuse ?

— Très heureuse... Comme vous, mon pauvre Antoine, c'est-à-dire avec un fond de désespoir... Je prends le sentier qui monte, n'est-ce pas ?... Je peux être franche avec vous... J'ai longtemps souhaité mourir... Maintenant cela va mieux... Je m'apaise... Vous aussi.

— Comme vous êtes perspicace, Sabine...

— N'oubliez pas que je vous ai jadis aimé, Antoine... Cela donne beaucoup de lucidité... Soutenez-moi, voulez-vous ? Cette pente est raide... Dites-moi, Antoine, quand avez-vous découvert ce qu'était Françoise ?... Quand l'avez-vous vue telle qu'elle est ?... Car, au moment de votre mariage, vous étiez fou d'elle.

— Je crains qu'il n'y ait en ce moment un malentendu entre nous, Sabine... Je voudrais que vous compreniez... J'ai, aujourd'hui encore, beaucoup d'affection pour Françoise... Et même *affection* est un mot ridicule et faible : j'aime Françoise... Mais, comme vous le disiez, les deux premières années de notre mariage ont été des années de véritable adoration et d'un amour que j'avais toutes raisons de croire mutuel.

— Ça !...

— Quoi, *ça ?...* Ah ! non, Sabine, vous allez trop loin... Vous ne me priverez pas de mes souvenirs... Françoise m'a donné alors des preuves d'amour auxquelles l'homme le plus aveugle ne se trompe pas... Nous vivions l'un pour l'autre... Nous n'étions heureux que dans la solitude... Vous ne me croyez pas ?... Mais enfin, Sabine, je sais ce que je dis : j'y étais... Et vous n'y étiez pas.

— J'y étais avant vous, mon pauvre ami... Je connais votre femme depuis son enfance. Sa sœur Hélène et elle-même ont été élevées avec moi... Je vois encore Françoise, dans la cour de Saint-Jean, une raquette à la main, nous disant, à

Hélène et à moi : « Il faut que j'épouse l'aîné des Quesnay et je l'épouserai. »

— Ce n'est pas possible, Sabine. La famille Pascal-Bouchet et la mienne avaient toujours été brouillées ; Françoise ne me connaissait pas... Nous nous sommes rencontrés par hasard, en 1917, pendant mon congé de convalescence.

— Par hasard ?... C'était, en effet, ce que vous deviez croire... Mais j'entends encore Hélène m'expliquer la situation... La vérité est qu'au moment où la guerre a éclaté, leur père, monsieur Pascal-Bouchet, était ruiné... C'était un noceur et un collectionneur, deux plaisirs coûteux... Ses filles l'appelaient toujours : le Pacha, et il méritait le surnom en plus d'une manière... La restauration du château de Fleuré l'avait achevé... « Mes petites filles », avait-il dit à Hélène et à Françoise, « il n'y a que deux alliances, dans ce pays, qui puissent nous sauver : celle des Thianges et celle des Quesnay ». Les petites ont réussi le doublé.

— Qui vous a raconté cette histoire ?

— Je vous l'ai dit : les deux sœurs elles-mêmes.

— Et vous ne m'avez pas averti ?

— Je ne pouvais pas dénoncer une amie... Et puis, je ne voulais pas lui gâter sa seule chance... Parce que Françoise, personne à Louviers*, ni à Pont-de-l'Eure, à part un Don Quichotte naïf comme vous, ne l'eût épousée... Les familles normandes n'aimaient pas les faillites.

— Mais jamais monsieur Pascal-Bouchet n'a fait faillite...

— C'est vrai, mais pourquoi ?... Pendant la guerre, le gouvernement l'a soutenu, grâce à son autre gendre, Maurice de Thianges, qui était député... Après la guerre, vous savez mieux que personne que votre grand-père a fini par l'aider... C'était bien ce qu'il avait espéré... Ah ! voici de nouveau cette odeur divine... Nous devons approcher de la terrasse... Arrêtez un instant, Antoine, je suis tout essoufflée.

— C'est que vous avez parlé en montant la côte.

— Touchez mon cœur, Antoine... Il bat à se rompre... Tenez... passez mon mouchoir sur vos lèvres... Les femmes sont terribles ; elles découvrent tout de suite une trace de rouge... Non, pas *votre* mouchoir voyons ! Ça se verrait... Si vous étiez un mari moins exemplaire, vous sauriez cela depuis longtemps... Et puis époussetez votre épaule gauche ; je vous ai peut-être laissé un peu de poudre... Bien... Nous voici dignes de reparaître à la lumière.

Quelques instants plus tard, les visiteurs partirent et les deux femmes se firent des adieux tendres.

Thanatos Palace Hotel



— Combien, *Steel** ? demanda Jean Monnier.

— 59 1/4, répondit une des douze dactylographes.

Les cliquetis de leurs machines esquissaient un rythme de jazz. Par la fenêtre, on apercevait les immeubles géants de Manhattan*. Les téléphones ronflaient et les rubans de papier, en se déroulant emplissaient le bureau, avec une incroyable rapidité, de leurs sinistres serpentins couverts de lettres et de chiffres.

— Combien, *Steel*? dit encore Jean Monnier.
— 59, répondit Gertrude Owen.

Elle s'arrêta un instant pour regarder le jeune Français. Prostré dans un fauteuil, la tête dans les mains, il semblait anéanti.

« Encore un qui a joué, pensa-t-elle. Tant pis pour lui!... Et tant pis pour Fanny... »

Car Jean Monnier, attaché au bureau de New York de la Banque Holmann*, avait épousé, deux ans plus tôt, sa secrétaire américaine.

— Combien, *Kennecott** ? dit encore Jean Monnier.

— 28, répondit Gertrude Owen.

Une voix, derrière la porte, cria. Harry Cooper entra. Jean Monnier se leva.

— Quelle séance ! dit Harry Cooper. Vingt pour-cent de baisse sur toute la cote. Et il se trouve encore des imbéciles pour dire que ceci n'est pas une crise !

— C'est une crise, dit Jean Monnier, et il sortit.

— Celui-là est touché, dit Harry Cooper.

— Oui, dit Gertrude Owen. Il a joué sa chemise*. Fanny me l'a dit. Elle va le quitter ce soir.

— Qu'est-ce qu'on y peut ? dit Harry Cooper. C'est la crise.

Les belles portes de bronze de l'ascenseur glissèrent.

— *Down**, dit Jean Monnier.

— Combien, *Steel*? demanda le garçon de l'ascenseur.

— 59, dit Jean Monnier.

Il avait acheté à 112*. Perte : cinquante-trois dollars par titre. Et ses autres achats ne valaient pas mieux. Toute la petite fortune jadis gagnée dans l'Arizona* avait été versée pour marge de ces opérations*. Fanny n'avait jamais eut un *cent.* C'était fini. Quand il fut dans la rue, se hâtant vers son train, il essaya d'imaginer l'avenir. Recommencer? Si Fanny montrait du courage, ce n'était pas impossible. Il se souvint de ses premières luttes, des troupeaux gardés dans le désert, de sa rapide ascension. Après tout, il avait à peine trente ans. Mais il savait que Fanny serait impitoyable.

Elle le fut.

Lorsque, le lendemain matin, Jean Monnier se réveilla seul, il se sentit sans courage. Malgré la sécheresse de Fanny, il l'avait aimée. La négresse lui servit sa tranche de melon, sa bouillie de céréales, et demanda de l'argent.

— Où la maîtresse, *Mister*?

— En voyage.

Il donna quinze dollars, puis fit sa caisse*. Il lui restait un peu moins de six cents dollars. C'était de quoi vivre deux mois, trois peut-être... Ensuite? Il regarda par la fenêtre. Presque chaque jour, depuis une semaine, on lisait dans les journaux des récits de suicides. Banquiers,

commis, spéculateurs préféraient la mort à une bataille déjà perdue. Une chute de vingt étages ? Combien de secondes ? Trois ? Quatre ? Puis cet écrasement... Mais si le choc ne tuait pas ? Il imagina des souffrances atroces, des membres brisés, des chairs anéanties. Il soupira, puis, un journal sous le bras, alla déjeuner au restaurant et s'étonna de trouver encore bon goût à des crêpes arrosées de sirop d'érable.

— « Thanatos Palace Hotel, New Mexico *... » Qui m'écrit de cette adresse bizarre ?

Il y avait aussi une lettre de Harry Cooper, qu'il lut la première. Le patron demandait pourquoi il n'avait pas reparu au bureau. Son compte était débiteur de huit cent quatre-vingt-treize dollars ($ 893)... Que comptait-il faire à ce sujet ?... Question cruelle, ou naïve. Mais la naïveté n'était pas l'un des vices de Harry Cooper.

L'autre lettre. Au-dessous de trois cyprès gravés, on lisait :

THANATOS PALACE HOTEL
Directeur : Henry Boerstecher.
« Cher Mr. Monnier :

« Si nous nous adressons à vous aujourd'hui, ce n'est pas au hasard, mais parce que nous possédons sur vous des renseignements qui nous permettent d'espérer que nos services pourront vous être utiles.

« Vous n'êtes certainement pas sans avoir remarqué que, dans la vie de l'homme le plus courageux, peuvent surgir des circonstances si complètement hostiles que la lutte devient impossible et que l'idée de la mort apparaît alors comme une délivrance.

« Fermer les yeux, s'endormir, ne plus se réveiller, ne plus entendre les questions, les reproches... Beaucoup d'entre nous ont fait ce rêve, formulé ce vœu... Pourtant, hors quelques cas très rares, les hommes n'osent pas s'affranchir de leurs maux, et on le comprend lorsqu'on observe ceux d'entre eux qui ont essayé de le faire. Car la plupart des suicides sont d'affreux échecs. Tel qui a voulu se tirer une balle dans le crâne n'a réussi qu'à se couper le nerf optique et à se rendre aveugle. Tel autre qui a cru s'endormir et s'empoisonner au moyen de quelque composé barbiturique, s'est trompé de dose et se réveille, trois jours plus tard, le cerveau liquéfié, la mémoire abolie, les membres paralysés. Le suicide est un art qui n'admet ni la médiocrité, ni l'amateurisme, et qui pourtant par sa nature même, ne permet pas d'acquérir une expérience.*

Cette expérience, cher Mr. Monnier, si, comme nous le croyons, le problème vous intéresse, nous sommes prêts à vous l'apporter. Propriétaires d'un hôtel situé à la frontière des Etats-Unis et du Mexique, affranchis de tout contrôle gênant par le caractère désertique de la région, nous avons pensé que notre devoir était d'offrir à ceux de nos frères humains qui, pour des raisons sérieuses, irréfutables, souhaiteraient quitter cette vie, les moyens de le faire sans

souffrance et, oserions-nous presque écrire, sans danger.

*« Au Thanatos Palace Hotel la mort vous atteindra dans votre sommeil et sous la forme la plus douce. Notre habileté technique, acquise au cours de quinze années de succès ininterrompus (nous avons reçu, l'an dernier, plus de deux mille clients), nous permet de garantir un dosage minutieux et des résultats immédiats. Ajoutons que, pour les visiteurs que tourmenteraient de légitimes scrupules religieux *, nous supprimons, par une méthode ingénieuse, toute responsabilité morale.*

« Nous savons très bien que la plupart de nos clients disposent de peu d'argent, et que la fréquence des suicides est inversement proportionnelle aux soldes créditeurs des comptes en banque. Aussi nous sommes-nous efforcés, sans jamais sacrifier le confort, de ramener les prix du Thanatos au plus bas niveau possible. Il vous suffira de déposer, en arrivant, trois cents dollars. Cette somme vous défraiera de toute dépense pendant votre séjour chez nous, séjour dont la durée doit demeurer pour vous inconnue, paiera les frais de l'opération, ceux des funérailles, et enfin l'entretien de la tombe. Pour des raisons évidentes, le service est compris dans ce forfait et aucun pourboire ne vous sera réclamé.

« Il importe d'ajouter que le Thanatos est situé dans une région naturelle de grande beauté, qu'il possède quatre tennis, un golf de dix-huit trous et une piscine olympique. Sa clientèle étant composée de personnes des deux sexes, et qui appartiennent presque toutes à

un milieu social raffiné, l'agrément social du séjour, rendu particulièrement piquant par l'étrangeté de la situation, est incomparable. Les voyageurs sont priés de descendre à la gare de Deeming, où l'autocar de l'hôtel viendra les chercher. Ils sont priés d'annoncer leur arrivée, par lettre ou câble, au moins deux jours à l'avance. Adresse télégraphique :
THANATOS, CORONADO, NEW MEXICO. »

Jean Monnier prit un jeu de cartes et les disposa pour une réussite que lui avait enseignée Fanny.

Le voyage fut très long. Pendant des heures, le train traversa des champs de coton où, émergeant d'une mousse blanche, travaillaient des nègres. Puis des alternances de sommeil et de lecture remplirent deux jours et deux nuits. Enfin le paysage devint rocheux, titanesque et féerique. Le wagon roulait au fond d'un ravin, entre des rochers d'une prodigieuse hauteur. D'immenses bandes violettes, jaunes et rouges, rayaient transversalement les montagnes. A mi-hauteur flottait une longue écharpe de nuages. Dans les petites gares où s'arrêtait le train, on entrevoyait des Mexicains aux larges feutres, aux vestes de cuir brodé.

Prochaine station: Deeming, dit à Jean Monnier le nègre du *Pullman*... Faire vos chaussures, Massa * ?

Le Français rangea ses livres et ferma ses valises. La simplicité de son dernier voyage l'étonnait. Il perçut le bruit d'un torrent. Les freins grincèrent. Le train stoppa.

— Thanatos, *Sir*? demanda le porteur indien qui courait le long des wagons.

Déjà cet homme avait, sur sa charrette, les bagages de deux jeunes filles blondes qui le suivaient.

« Est-il possible, pensa Jean Monnier, que ces filles charmantes viennent ici pour mourir ? »

Elles aussi le regardaient, très graves, et murmuraient des mots qu'il n'entendait pas.

L'omnibus du Thanatos n'avait pas, comme on aurait pu le craindre, l'aspect d'un corbillard. Peint en bleu vif, capitonné bleu et orange, il brillait au soleil, parmi les voitures délabrées qui donnaient à cette cour, où juraient des Espagnols et des Indiens, un aspect de foire à ferraille*. Les rochers qui bordaient la voie étaient couverts de lichens qui enveloppaient la pierre d'un voile gris bleu. Plus haut brillaient les teintes vives des roches métalliques. Le chauffeur, qui portait un uniforme gris, était un gros homme aux yeux exorbités. Jean Monnier s'assit à côté de lui, par discrétion, et pour laisser seules ses compagnes ; puis tandis que, par des tournants en épingle à cheveux, la voiture partait à l'assaut de la montagne, le Français essaya de faire parler son voisin :

— Il y a longtemps que vous êtes le chauffeur du Thanatos ?

— Trois ans, grommela l'homme.

— Cela doit être une étrange place.

— Etrange ? dit l'autre. Pourquoi *étrange* ? Je conduis ma voiture. Qu'y a-t-il là d'étrange ?

— Les voyageurs que vous amenez redescendent-ils jamais ?

— Pas souvent, dit l'homme avec un peu de gêne. Pas souvent... Mais cela arrive. J'en suis un exemple.

— Vous ? Vraiment ?... Vous étiez venu ici comme... client ?

— Monsieur, dit le chauffeur, j'ai accepté ce métier pour ne plus parler de moi et ces tournants sont difficiles. Vous ne voulez tout de même pas que je vous tue, vous et ces deux jeunes filles ?

— Evidemment non, dit Jean Monnier.

Puis il pensa que sa réponse était drôle et il sourit.

Deux heures plus tard, le chauffeur, sans un mot, lui montra du doigt, sur le plateau, la silhouette du Thanatos.

L'hôtel était bâti dans le style hispano-indien, très bas, avec des toits en terrasses et des murs rouges dont le ciment imitait assez grossièrement l'argile. Les chambres s'ouvraient au midi, sur des porches ensoleillés. Un portier italien

accueillit les voyageurs. Son visage rasé évoqua tout de suite, pour Jean Monnier, un autre pays, les rues d'une grande ville, des boulevards fleuris.

— Où diable vous ai-je vu, demanda-t-il au portier tandis qu'un *page-boy** prenait sa valise.

— Au Ritz de Barcelone*, monsieur... Mon nom est Sarconi... J'ai quitté au moment de la révolution *...

— De Barcelone au Nouveau-Mexique*! Quel voyage!

— Oh! monsieur, le rôle du concierge est le même partout... Seulement les papiers que je dois vous demander de remplir sont un peu plus compliqués ici qu'ailleurs... Monsieur m'excusera.

Les imprimés qui furent tendus aux trois arrivants étaient en effet chargés de cases, de questions et de notes explicatives. Il était recommandé d'indiquer avec une grande précision la date et le lieu de naissance, les personnes à prévenir en cas d'accident:

« *Prière de donner au moins deux adresses de parents ou d'amis, et surtout de recopier à la main, dans votre langue usuelle*, la formule A' ci-dessous:*

Je, soussigné,   , sain de corps et d'esprit, certifie que c'est volontairement que je renonce à la vie et décharge de toute responsabilité, en cas d'accident, la direction et le personnel du Thanatos Palace Hotel...»

Assises l'une en face de l'autre à une table voisine, les deux jolies filles recopiaient avec soin la formule A' et Jean Monnier remarqua qu'elles avaient choisi le texte allemand.

Henry M. Boerstecher, directeur, était un homme tranquille, aux lunettes d'or, très fier de son établissement.

— L'hôtel est à vous ? demanda Jean Monnier.

— Non, monsieur, l'hôtel appartient à une Société Anonyme, mais c'est moi qui en ai eu l'idée et qui en suis directeur à vie.

— Et comment n'avez-vous pas les plus graves ennuis avec les autorités locales ?

— Des ennuis ? dit Mr. Boerstecher, surpris et choqué. Mais nous ne faisons rien, monsieur, qui soit contraire à nos devoirs d'hôteliers. Nous donnons à nos clients ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils désirent, rien de plus... D'ailleurs, monsieur, il n'y a pas ici d'autorités locales. Ce territoire est si mal délimité que nul ne sait exactement s'il fait partie du Mexique ou des Etats-Unis. Longtemps ce plateau a passé pour être inaccessible. Une légende voulait qu'une bande d'Indiens s'y fût réunie, il y a quelques centaines d'années, pour mourir ensemble et pour échapper aux Européens, et les gens du pays prétendaient que les âmes de ces morts interdisaient l'accès de la montagne. C'est la

raison pour laquelle nous avons pu acquérir le terrain pour un prix tout à fait raisonnable et y mener une existence indépendante.

— Et jamais les familles de vos clients ne vous poursuivent ?

— Nous poursuivre ! s'écria Mr. Boerstecher, indigné, et pourquoi, grand Dieu ? Devant quels tribunaux ? Les familles de nos clients sont trop heureuses, monsieur, de voir se dénouer sans publicité des affaires qui sont délicates et même, presque toujours, pénibles... Non, non, monsieur, tout se passe ici gentiment, correctement, et nos clients sont pour nous des amis... Vous plairait-il de voir votre chambre ?... Ce sera, si vous le voulez bien, le 113... Vous n'êtes pas superstitieux ?

— Pas du tout, dit Jean Monnier. Mais j'ai été élevé religieusement et je vous avoue que l'idée d'un suicide me déplaît...

— Mais il n'est pas et ne sera pas question de suicide, monsieur ! dit Mr. Boerstecher d'un ton si péremptoire que son interlocuteur n'insista pas. Sarconi, vous montrerez le 113 à monsieur Monnier. Pour les trois cents dollars, monsieur, vous aurez l'obligeance de les verser en passant, au caissier dont le bureau est voisin du mien.

Ce fut en vain que, dans la chambre 113, qu'illuminait un admirable coucher de soleil, Jean Monnier chercha trace d'engins mortels.

— A quelle heure est le dîner ?
— A huit heures trente, *Sir*, dit le valet.
— Faut-il s'habiller ? *
— La plupart des gentlemen le font, *Sir*.
— Bien ! Je m'habillerai... préparez-moi une cravate noire et une chemise blanche.

Lorsqu'il descendit dans le hall, il ne vit en effet que femmes en robes décolletées, hommes en smoking. Mr. Boerstecher vint au-devant de lui, officieux et déférent.

— Ah ! Monsieur Monnier... Je vous cherchais... Puisque vous êtes seul, j'ai pensé que peut-être il vous serait agréable de partager votre table avec une de nos clientes, Mrs. Kirby-Shaw.

Monnier fit un geste d'ennui :

— Je ne suis pas venu ici, dit-il, pour mener une vie mondaine... Pourtant... Pouvez-vous me montrer cette dame sans me présenter ?

— Certainement, monsieur Monnier... Mrs. Kirby-Shaw est la jeune femme en robe de crêpe-satin blanc qui est assise près du piano et feuillette un magazine... Je ne crois pas que son aspect physique puisse déplaire... Loin de là... Et c'est une dame bien agréable, de bonnes manières, intelligente, artiste...

A coup sûr, Mrs. Kirby-Shaw était une très jolie femme. Des cheveux bruns, coiffés en petites boucles, tombaient en chignon bas jusqu'à la nuque et dégageaient un front haut et vigoureux. Les yeux étaient tendres, spirituels.

Pourquoi diable un être aussi plaisant voulait-il mourir ?

— Est-ce que Mrs. Kirby-Shaw... ? Enfin cette dame est-elle une de vos clientes au même titre et pour les mêmes raisons que moi ?

— *Certainement,* dit Mr. Boerstecher, qui sembla charger cet adverbe d'un sens lourd. *Cer-tai-ne-ment.*

— Alors, présentez-moi.

Quand le dîner, simple mais excellent et bien servi, se termina, Jean Monnier connaissait déjà, au moins dans ses traits essentiels, la vie de Clara Kirby-Shaw. Mariée avec un homme riche, d'une grande bonté, mais qu'elle n'avait jamais aimé, elle l'avait quitté, six mois plus tôt, pour suivre en Europe un jeune écrivain, séduisant et cynique, qu'elle avait rencontré à New York. Ce garçon, qu'elle avait cru prêt à l'épouser dès qu'elle aurait obtenu son divorce, s'était montré, dès leur arrivée en Angleterre, décidé à se débarrasser d'elle le plus rapidement possible. Surprise et blessée par sa dureté, elle avait tenté de lui faire comprendre tout ce qu'elle avait abandonné pour lui, et l'affreuse situation où elle allait se trouver. Il avait beaucoup ri :

« Clara, en verité, lui avait-il dit, vous êtes une femme d'un autre temps !... Si je vous avais sue à ce point victorienne*, je vous aurais laissée à votre époux, à vos enfants... Il faut les rejoindre, ma chère... Vous êtes faite pour élever sagement une famille nombreuse. »

Elle avait alors conçu un dernier espoir, celui d'amener son mari, Norman Kirby-Shaw, à la reprendre. Elle était certaine que, si elle avait pu le revoir seul, elle l'eût aisément reconquis. Entouré de sa famille, de ses associés, qui avaient exercé sur lui une pression constante et hostile à Clara, Norman s'était montré inflexible. Après plusieurs tentatives humiliantes et vaines, elle avait, un matin, trouvé dans son courrier le prospectus du Thanatos et compris que là était la seule solution, immédiate et facile, de son douloureux problème.

— Et vous ne craignez pas la mort ? avait demandé Jean Monnier.

— Si, bien sûr... Mais moins que je ne crains la vie...

— C'est une belle réplique, dit Jean Monnier.

— Je n'ai pas voulu qu'elle fût belle, dit Clara. Et maintenant, racontez-moi pourquoi *vous* êtes ici.

Quand elle eut entendu le récit de Jean Monnier, elle le blâma beaucoup.

— Mais c'est presque incroyable ! dit-elle. Comment ?... Vous voulez mourir parce que vos valeurs ont baissé ?... Ne voyez-vous pas que dans un an, deux ans, trois ans ou plus, si vous avez le courage de vivre, vous aurez oublié, et peut-être réparé vos pertes ?...

— Mes pertes ne sont qu'un prétexte. Elles ne seraient rien, en effet, s'il me restait quelque raison de vivre... Mais je vous ai dit aussi que ma

femme m'a renié... Je n'ai, en France, aucune famille proche ; je n'y ai laissé aucune amie... Et puis, pour être tout à fait sincère, j'avais déjà quitté mon pays à la suite d'une déception sentimentale... Pour qui lutterais-je maintenant ?

— Mais pour vous-même... Pour les êtres qui vous aimeront... et que vous ne pouvez manquer de rencontrer... Parce que vous avez constaté, en des circonstances pénibles, l'indignité de quelques femmes, ne jugez pas injustement toutes les autres...

— Vous croyez vraiment qu'il existe des femmes... je veux dire des femmes que je puisse aimer... et qui soient capables d'accepter, au moins pendant quelques années, une vie de pauvreté, de combat... ?

— J'en suis certaine, dit-elle. Il y a des femmes qui aiment la lutte et qui trouvent à la pauvreté je ne sais quel attrait romanesque... Moi, par exemple.

— Vous ?

— Oh, je voulais seulement dire...

Elle s'arrêta, hésita, puis reprit :

— Je crois qu'il nous faudrait regagner le hall... Nous restons seuls dans la salle à manger et le maître d'hôtel rôde autour de nous avec désespoir.

— Vous ne croyez pas, dit-il, comme il plaçait sur les épaules de Clara Kirby-Shaw une cape d'hermine, vous ne croyez pas que... dès cette nuit... ?

— Oh non! dit-elle. Vous venez d'arriver...

— Et vous ?

— Je suis ici depuis deux jours.

Quand ils se séparèrent, ils étaient convenus de faire ensemble, le lendemain matin, une promenade en montagne.

Un soleil matinal baignait le porche d'une nappe oblique de lumière et de tiédeur. Jean Monnier, qui venait de prendre une douche glacée, se surprit à penser : « Qu'il fait bon vivre !... » Puis il se dit qu'il n'avait plus devant lui que quelques dollars et quelques jours. Il soupira :

« Dix heures !... Clara va m'attendre. »

Il s'habilla en hâte et, dans un costume de lin blanc, se sentit léger. Quand il rejoignit près du tennis Clara Kirby-Shaw, elle était, elle aussi, vêtue de blanc et se promenait, encadrée de petites Autrichiennes, qui s'enfuirent en apercevant le Français.

— Je leur fais peur ?

— Vous les intimidez... Elles me racontaient leur histoire.

— Intéressante ?... Vous allez me la dire... Avez-vous pu dormir un peu ?

— Oui, admirablement. Je soupçonne l'inquiétant Boerstecher de mêler du chloral à nos breuvages.

— Je ne crois pas, dit-il. J'ai dormi comme une souche, mais d'un sommeil naturel, et je me sens ce matin parfaitement lucide.

Après un instant, il ajouta:

— Et parfaitement heureux.

Elle le regarda en souriant et ne répondit pas.

— Prenons ce sentier, dit-il, et contez-moi les petites Autrichiennes... Vous serez ici ma Shéhérazade*...

— Mais nos nuits ne seront pas mille et une...

— Hélas !... *Nos* nuits... ?

Elle l'interrompit :

— Ces enfants sont deux sœurs jumelles. Elles ont été élevées ensemble, d'abord à Vienne, puis à Budapest, et n'ont jamais eu d'autres amies intimes. A dix-huit ans, elles ont rencontré un Hongrois, de noble et ancienne famille, beau comme un demi-dieu, musicien comme un Tzigane et sont toutes deux, le même jour, devenues follement amoureuses de lui. Après quelques mois, il a demandé en mariage l'une des sœurs. L'autre, désespérée, a tenté, mais en vain, de se noyer. Alors celle qui avait été choisie a pris la résolution de renoncer, elle aussi, au comte Nicky et elles ont formé le projet de mourir ensemble... C'est le moment où, comme vous, comme moi, elles ont reçu le prospectus du Thanatos.

— Quelle folie ! dit Jean Monnier. Elles sont jeunes et ravissantes... Que ne vivent-elles en Amérique, où d'autres hommes les aimeront ?... Quelques semaines de patience...

— C'est toujours, dit-elle mélancoliquement, faute de patience que l'on est ici... Mais chacun

de nous est sage pour tous les autres... Qui donc a dit que l'on a toujours assez de courage pour supporter les maux d'autrui ?

Pendant tout le jour, les hôtes du Thanatos virent un couple vêtu de blanc errer dans les allées du parc, au flanc des rochers, le long du ravin. L'homme et la femme discutaient avec passion. Quand la nuit tomba, ils revinrent vers l'hôtel et le jardinier mexicain, les voyant enlacés, détourna la tête.

Après le dîner, Jean Monnier, toute la soirée, chuchota dans un petit salon désert, près de Clara Kirby-Shaw, des phrases qui semblaient toucher celle-ci. Puis, avant de remonter dans sa chambre, il chercha Mr. Boerstecher. Il trouva le directeur assis devant un grand registre noir. Mr. Boerstecher vérifiait des additions et, de temps à autre, d'un coup de crayon rouge, barrait une ligne.

— Bonsoir, monsieur Monnier!... Je puis faire quelque chose pour vous ?

— Oui, Mr. Boerstecher... Du moins je l'espère... Ce que j'ai à vous dire vous surprendra... Un changement si soudain... Mais la vie est ainsi... Bref, je viens vous annoncer que j'ai changé d'avis... Je ne veux plus mourir.

Mr. Boerstecher, surpris, leva les yeux :

— Parlez-vous sérieusement, monsieur Monnier ?

— Je sais bien, dit le Français, que je vais vous paraître incohérent, indécis... Mais n'est-il pas naturel, si les circonstances sont nouvelles, que changent aussi nos volontés ?... Il y a huit jours, quand j'ai reçu votre lettre, je me sentais désespéré, seul au monde... Je ne pensais pas que la lutte valût la peine d'être entreprise... Aujourd'hui tout est transformé... Et au fond, c'est grâce à vous, Mr. Boerstecher.

— Grâce à moi, monsieur Monnier ?

— Oui, car cette jeune femme en face de laquelle vous m'avez assis à table est celle qui a fait ce miracle... Mrs. Kirby-Shaw est une femme délicieuse, Mr. Boerstecher.

— Je vous l'avais dit, monsieur Monnier.

— Délicieuse et héroïque... Mise au courant par moi de ma misérable situation, elle a bien voulu accepter de la partager... Cela vous surprend ?

— Point du tout... Nous avons, ici, l'habitude de ces coups de théâtre... Et je m'en réjouis, monsieur Monnier... Vous êtes jeune, très jeune...

— Donc, si vous n'y voyez point d'inconvénient, nous partirons demain, Mrs. Kirby-Shaw et moi-même, pour Deeming.

— Ainsi Mrs. Kirby-Shaw, comme vous, renonce à... ?

— Oui, naturellement... D'ailleurs elle vous le confirmera tout à l'heure... Reste à régler une question assez délicate... Les trois cents dollars

que je vous ai versés, et qui constituaient à peu près tout mon avoir, sont-ils irrémédiablement acquis au Thanatos ou puis-je, pour prendre nos billets, en récupérer une partie ?

— Nous sommes d'honnêtes gens, monsieur Monnier... Nous ne faisons jamais payer des services qui n'ont pas été réellement rendus par nous. Dès demain matin, la caisse établira votre compte* à raison de vingt dollars par jour de pension, plus le service, et le solde vous sera remboursé.

— Vous êtes tout à fait courtois et généreux... Ah ! Mr. Boerstecher, quelle reconnaissance ne vous dois-je point ! Un bonheur retrouvé... Une nouvelle vie...

— A votre service, dit Mr. Boerstecher.

Il regarda Jean Monnier sortir et s'éloigner. Puis il appuya sur un bouton et dit :

— Envoyez-moi Sarconi.

Au bout de quelques minutes, le concierge parut.

— Vous m'avez demandé, *Signor** Directeur ?

— Oui, Sarconi... Il faudra, dès ce soir, mettre le gaz au 113... Vers deux heures du matin.

— Faut-il, *Signor* Directeur, envoyer du Somnial* avant le Léthal* ?

— Je ne crois pas que ce soit nécessaire... Il dormira très bien. C'est tout pour ce soir, Sarconi... Et demain les deux petites du 17, comme il était convenu.

Comme le concierge sortait, Mrs. Kirby-Shaw parut à la porte du bureau.

— Entre, dit Mr. Boerstecher. Justement j'allais te faire appeler. Ton client est venu m'annoncer son départ.

— Il me semble, dit-elle, que je mérite des compliments... C'est du travail bien fait.

— Très vite... J'en tiendrai compte.

— Alors c'est pour cette nuit ?

— C'est pour cette nuit.

— Pauvre garçon ! dit-elle. Il était gentil, romanesque...

— Ils sont tous romanesques, dit Mr. Boerstecher.

— Tu es tout de même cruel, dit-elle. C'est au moment précis où ils reprennent goût à la vie que tu les fais disparaître.

— Cruel ? C'est en cela au contraire que consiste toute l'humanité de notre méthode... Celui-ci avait des scrupules religieux... Je les apaise.

Il consulta son registre :

— Demain, repos... Mais après-demain, j'ai de nouveau une arrivée pour toi... C'est encore un banquier, mais Suédois cette fois... Et celui-là n'est plus très jeune.

— J'aimais bien le petit Français, fit-elle, rêveuse.

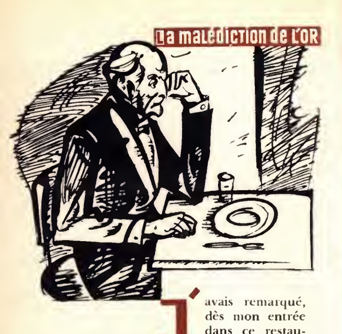
— On ne choisit pas le travail, dit sévèrement le Directeur. Tiens, voici tes dix dollars, plus dix de prime.

— Merci, dit Clara Kirby-Shaw.

Et comme elle plaçait les billets dans son sac, elle soupira.

Quand elle fut sortie, Mr. Boerstecher chercha son crayon rouge, puis, avec soin, en se servant d'une petite règle de métal, il raya de son registre un nom.

La malédiction de l'or



J'avais remarqué, dès mon entrée dans ce restaurant de New York dont j'étais un habitué, le petit vieillard qui, assis à la première table, mangeait un *steak** épais et saignant. La viande rouge avait attiré mon attention, car elle était alors très rare, mais aussi le visage triste et fin de l'homme. Certainement je l'avais connu jadis, à Paris ou ailleurs. Dès que je fus moi-même installé, j'appelai le patron, Périgourdin* actif et adroit qui avait su

faire, de cette cave étroite, un repaire de gourmets :

— Dites-moi, monsieur Robert, le client à droite de la porte, c'est un Français, n'est-ce pas ?

— Lequel ? Celui qui est seul à sa table ?... C'est monsieur Bordacq. Il est ici tous les jours.

— Bordacq ? L'industriel ? Mais oui, je le reconnais maintenant... Je ne l'avais jamais vu chez vous.

— Parce que d'habitude il vient avant tout le monde... C'est un homme qui aime être seul.

Le patron se pencha vers ma table, puis, à mi-voix :

— Ils sont bizarres, lui et sa dame, vous savez... Très bizarres. Vous le voyez seul à déjeuner. Eh bien ! si vous veniez ce soir, à sept heures, vous trouveriez sa femme seule à dîner. On croirait qu'ils ne veulent pas se voir. Et pourtant ils sont dans les meilleurs termes ; ils vivent ensemble à l'Hôtel Delmonico... Pour moi, c'est un mystère, ce ménage.

— Patron, dit un garçon, l'addition au 15.

M. Robert me quitta, mais je continuai de penser à ce couple. Bordacq... Bien sûr, je l'avais connu à Paris. Entre les deux guerres *, on le voyait souvent chez Fabert, l'auteur dramatique, qui montrait pour lui un goût inattendu, né sans doute de ce qu'ils avaient la même marotte, celle des placements sûrs, et la même terreur, celle de perdre leur fortune... Bordacq... Il devait avoir près de quatre-vingts ans. Je me souvenais que,

vers 1923, il venait de se retirer des affaires, avec un nombre respectable de millions. Il était alors affolé par la baisse du franc :

— C'est insensé ! disait-il. J'aurai travaillé quarante ans pour me retrouver sur la paille. Non seulement mes rentes et mes obligations ne valent plus rien, mais les actions industrielles ne montent pas. Notre argent nous fond dans les doigts. Comment passerons-nous nos vieux jours ?

— Faites comme moi, lui disait Fabert. J'ai mis tout ce que je possède en livres sterling... Voilà une monnaie de tout repos.

Quand je les revis, trois ou quatre ans plus tard, ils étaient l'un et l'autre déconfits. Bordacq avait suivi les conseils de Fabert ; là-dessus s'était produit le relèvement du franc par Poincaré * et la livre avait fortement baissé. L'idée fixe de Bordacq était maintenant d'échapper à l'impôt sur le revenu, dont le taux montait.

— Vous êtes un enfant, lui répétait Fabert. Faites donc comme moi... Il y a une valeur stable, et une seule : c'est l'or... Si vous aviez, en 1918, acheté des lingots d'or, vous n'auriez pas eu de revenus apparents, vous n'auriez jamais payé d'impôts, et vous seriez aujourd'hui beaucoup plus riche... Transformez en or tout ce que vous possédez et dormez sur les deux oreilles.

Les Bordacq avaient obéi. Ils avaient acheté de l'or, loué un coffre et goûté de vifs plaisirs à aller, de temps à autre, entrouvrir la porte du

sanctuaire pour rendre hommage a leur dieu. Puis je les avais perdus de vue pendant dix ans. Un jour de 1937, je les avais rencontrés, lui triste et distingué, elle exubérante et naïve, petite vieille bien propre en robe de soie noire à jabot de dentelles, chez un marchand de tableaux du faubourg Saint-Honoré. Timidement, Bordacq m'avait consulté :

— Vous qui êtes un artiste, croyez-vous, cher monsieur, que les Impressionnistes aient encore une chance de hausse ?... Vous ne savez pas ?... On me dit que oui, mais ils ont déjà beaucoup monté... Il fallait se mettre dans le marché * au début du siècle... Evidemment l'idéal serait de connaître la nouvelle école qui leur succédera et qu'on aurait aujourd'hui pour rien. Seulement voilà, personne ne peut là-dessus me donner de garanties... Quelle époque ! Les experts eux-mêmes ne savent rien ! Enfin vous m'avouerez que c'est incroyable ! Je leur demande : « Et qu'est-ce qui va monter maintenant ? » Ils hésitent, mon cher, ils pataugent. Les uns disent Utrillo *, les autres Picasso... Mais tout ça est déjà trop connu.

— Et votre lingot d'or ? lui dis-je.

— Je l'ai toujours... je l'ai toujours... Et beaucoup d'autres... Mais le gouvernement parle de réquisitionner l'or, d'ouvrir les coffres... C'est affreux... Vous me direz : La sagesse serait de tout mettre à l'étranger... Sans doute, mon cher, sans doute... Mais où ? Le gouvernement britan-

nique est aussi dur que le nôtre ; la Hollande et la Suisse sont trop exposées en temps de guerre *... Il y a bien les Etats-Unis, mais, depuis Roosevelt *, le dollar lui-même... Et puis il nous faudrait y aller vivre, pour ne pas risquer d'être un jour coupés de notre ligne de retraite.

Je ne sais plus ce que j'avais alors répondu. Ils commençaient à m'irriter, ces Bordacq, accrochés à leur magot en un temps où une civilisation s'écroulait. En sortant de la galerie, j'avais pris congé d'eux et les avais regardés s'éloigner à petits pas prudents, tous deux vêtus de noir, corrects et lugubres. Et voilà que je les retrouvais dans Lexington Avenue *, au *Serpent d'or*. Qu'étaient-ils devenus pendant la guerre ? Comment avaient-ils échoué à New York ? Je me sentais curieux de le savoir et, quand Bordacq se leva, j'allai à lui et me nommai.

— Ah ! je me souviens très bien, dit-il. Quel plaisir de vous revoir, mon cher monsieur ! J'espère bien que vous nous ferez l'honneur de venir prendre une tasse de thé. Nous sommes à l'Hôtel Delmonico. Ma femme sera si heureuse... La vie est monotone pour nous, qui ne savons l'anglais, ni l'un, ni l'autre...

— Et vous vivez en Amérique de manière permanente ?

— Il faut bien, dit-il. Je vous expliquerai. Venez demain, vers cinq heures.

J'acceptai et fus fidèle au rendez-vous. Mme Bordacq portait la même robe de soie noire, à

jabot de dentelles, qu'en 1923 et, au cou, ses belles perles. Elle me parut très sombre.

— Je m'ennuie tant! dit-elle. Nous n'avons que ces deux pièces, pas un ami... Ah ! je n'aurais pas cru terminer ma vie dans cet exil.

— Mais, madame, dis-je, qui vous y a contrainte ? Vous n'aviez, que je sache, aucune raison particulière de craindre les Allemands. Naturellement, je comprends que vous ayez souhaité ne pas vivre près d'eux ; pourtant de là à vous exiler volontairement dans un pays dont vous ne parlez pas la langue...

— Oh ! dit-elle, les Allemands n'y sont pour rien. Nous sommes venus ici bien avant la guerre.

Son mari se leva, alla ouvrir la porte du couloir pour s'assurer que nul n'écoutait, la ferma au verrou, puis, revenant s'asseoir, me dit à voix basse :

— Je vais tout vous expliquer. Nous savons que vous êtes discret et nous ne serons pas mécontents d'avoir votre conseil. J'ai bien mon avocat américain. Mais vous me comprendrez mieux... Voici... Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'après l'arrivée au pouvoir du Front Populaire *, nous avons considéré comme dangereux de conserver nos lingots d'or dans une banque française. Nous avons donc trouvé le moyen de les faire transporter, de manière clandestine mais sûre, aux Etats-Unis. Naturellement, nous avions décidé de nous y fixer. Il

n'était pas question de nous séparer de notre or... Ca va de soi... A New York, nous l'avons pourtant, dès 1938, transformé en dollars parce que nous ne croyions pas (et nous avions raison) que l'Amérique ferait une nouvelle dévaluation, et parce que des gens que nous savions bien informés nous disaient que la Russie allait faire baisser l'or par ses nouvelles prospections... Mais le problème était : sous quelle forme conserver nos dollars ? Compte en banque ? Dollars-papier * ? Actions ?... Si nous avions acheté des valeurs américaines, nous aurions dû payer l'impôt sur le revenu américain, qui est très élevé... Nous avons donc tout laissé en dollars-papier.

Je ne pus m'empêcher d'interrompre :

— En d'autres termes, pour ne pas payer un impôt de cinquante pour-cent, vous vous êtes frappés volontairement d'un impôt de cent pour-cent ?

— Il y avait une autre raison, dit-il de plus en plus mystérieusement, nous voyions venir la guerre et nous pensions que les comptes en banque pourraient être gelés, les coffres ouverts, et cela d'autant plus que nous ne sommes pas citoyens américains... Nous avons donc décidé de conserver notre argent toujours avec nous.

— Avec vous, m'écriai-je, que voulez-vous dire ?... Ici, à l'hôtel ?

Tous deux inclinèrent la tête avec une ombre

de sourire, puis ils échangèrent un regard de malice et de fierté :

— Oui, continua-t-il d'une voix à peine perceptible. Oui, ici, à l'hôtel. Nous avons tout mis, un peu d'or et les dollars, dans une grande malle. Elle est là, dans notre chambre à coucher.

Il se leva, ouvrit la porte de communication et, me prenant le bras, me fit voir une malle noire d'aspect fort ordinaire :

— C'est celle-ci, murmura-t-il, et il referma la porte avec une sorte de génuflexion.

— Ne craignez-vous pas, demandai-je, que cette histoire de malle au trésor ne vienne à se répandre ? Quelle tentation pour des voleurs !

— Non, dit-il. D'abord parce que personne au monde ne la connaît que notre avocat... et vous, en qui j'ai pleine confiance... Tout est bien calculé, je vous assure. Une malle n'attire pas l'attention comme ferait un coffre. Nul ne penserait qu'il y a là-dedans une fortune. Et surtout, nous montons la garde dans cette chambre à toute heure du jour et de la nuit.

— Vous ne sortez jamais ?

— Jamais ensemble ! Nous avons un revolver, qui est dans le tiroir le plus voisin de la malle, et il y a toujours l'un de nous deux dans l'appartement... Moi, je vais déjeuner dans ce restaurant français où vous m'avez rencontré. Ma femme y va prendre son dîner. Ainsi la malle n'est jamais seule. Vous comprenez ?

— Non, cher monsieur Bordacq, je ne

comprends pas pourquoi vous vous condamnez à une vie cloîtrée, misérable... Les impôts ? Eh ! que vous importe ! N'avez-vous pas largement ce qu'il vous faut pour vivre jusqu'à la fin de vos jours ?

— Là n'est pas la question, dit-il. Je ne veux pas leur donner un argent que j'ai eu tant de mal à gagner.

J'essayai de changer le thème de la conversation. Bordacq était cultivé ; il savait de l'histoire ; je tentai de le faire parler des collections d'autographes qu'il avait possédées jadis, mais sa femme, encore plus obsédée que lui, nous ramena au seul sujet qui l'intéressât :

— Il y a un homme que je crains, dit-elle à voix basse. C'est le maître d'hôtel allemand qui nous apporte notre petit déjeuner. Il jette parfois vers cette porte des coups d'œil que je n'aime pas. Mais à cette heure-là, nous sommes tous deux présents. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un danger.

Un autre problème était le chien. Ils avaient un beau caniche, d'une sagesse surprenante, toujours couché dans un coin du salon, mais qu'il fallait promener trois fois par jour. Pour cela encore, ils alternaient. Quand je les quittai, j'étais à la fois exaspéré par cette folie maniaque et fasciné par ces personnages extraordinaires.

Après cette visite, je fis souvent effort pour quitter mon bureau plus tôt et venir dîner au *Serpent d'or* à sept heures précises. Ainsi je

pouvais m'asseoir à la table de Mme Bordacq. Elle était plus communicative que lui et me découvrait plus naïvement leurs angoisses et leurs projets :

— Eugène, me dit-elle un soir, est d'une intelligence admirable. Il pense à tout. Cette nuit, il a tout d'un coup eu l'idée qu'*ils* pourraient, pour empêcher la thésaurisation* des billets, les rappeler tous et les échanger. En ce cas, nous serions forcés de les déclarer.

— En effet, dis-je, mais où serait le mal ?

— Ce serait très grave, dit-elle. Nous n'avons rien déclaré quand la Trésorerie Américaine* a fait, en 1943, le recensement des biens des réfugiés... Nous aurions de terribles ennuis... Mais Eugène a un nouveau plan. Il paraît que, dans certaines républiques de l'Amérique du Sud, l'impôt sur le revenu n'existe pas. Si nous pouvions y transférer notre capital...

— Comment le transférer sans le déclarer à la douane ?

— Eugène pense, dit-elle, qu'il faudrait d'abord devenir citoyens de l'Etat que nous choisirions. Si nous étions, par exemple, Uruguayens, le transfert serait de droit.

Cela me parut si beau, que le lendemain, je vins déjeuner avec Bordacq. Il m'accueillait toujours avec joie.

— Ah ! dit-il, je suis d'autant plus content de vous voir que j'ai un renseignement à vous

demander. Savez-vous quelles sont les formalités à remplir pour devenir Vénézuélien ?

— Ma foi non, lui dis-je.

— Et Colombien ?

— Pas davantage. Vous devriez poser cette question aux consuls respectifs de ces pays.

— Aux consuls ! dit-il. Etes-vous fou ?... Pour attirer l'attention!

Il repoussa son poulet rôti avec dégoût et soupira :

— Quelle époque ! Dire que nous aurions pu naître en 1830 et passer notre vie tout entière sans inquisition fiscale, sans crainte de spoliation ! Aujourd'hui, tous les pays se font brigands de grand chemin... L'Angleterre elle-même... J'y avais caché quelques tableaux et tapisseries, que je voudrais maintenant amener ici. Savez-vous ce qu'ils me demandent ? Un droit de sortie * de cent pour-cent, ce qui équivaut à une confiscation... Nous sommes volés comme au coin d'un bois, mon cher monsieur, comme au coin d'un bois.

Après cela mes affaires m'entraînèrent en Californie et je ne sus pas si les Bordacq étaient devenus Uruguayens, Vénézuéliens ou Colombiens. Quand je revins à New York, un an plus tard, j'interrogeai sur eux M. Robert, le patron du *Serpent d'or*:

— Et les Bordacq ? Vous les voyez toujours ?

— Mais non ! me dit-il. Comment ? Vous ne savez pas ? Elle est morte le mois dernier, d'une

maladie de cœur, je crois, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu le mari. Je pense que ça lui a porté un coup et qu'il est malade.

Je pensai, moi, que l'explication était toute différente. J'écrivis un mot de condoléances à M. Bordacq et lui demandai si je pouvais aller le voir. Dès le lendemain, il me téléphona de venir. Je le trouvai pâle, très amaigri, les lèvres blanches, la voix mourante.

— Je n'ai appris qu'hier votre malheur, lui dis-je, et tout de suite j'ai voulu me mettre à votre disposition, car en dehors de la douleur que doit vous causer une telle perte, j'imagine que votre vie a dû devenir impossible.

— Mais non, dit-il, mais non... J'ai pris le parti de ne plus sortir du tout... C'était la seule chose à faire, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas quitter la malle et je n'avais personne à qui la confier... J'ai donc donné l'ordre que tous mes repas fussent montés dans ma chambre...

— Et cette claustration totale ne vous est pas insupportable ?

— Mais non, mais non... On s'y habitue... Je vois de ma fenêtre les passants, les voitures... Et puis je vais vous dire : ce type de vie me donne enfin un merveilleux sentiment de sécurité. Autrefois, quand je sortais pour déjeuner, je passais toujours une heure pénible ; je me demandais ce qui était arrivé en mon absence... Je sais bien, il y avait ma pauvre femme, mais je

ne la voyais guère manier un revolver, surtout avec son cœur dans l'état où il était... Maintenant, en laissant la porte ouverte, j'ai toujours l'œil sur la malle... J'ai près de moi tout ce à quoi je tiens... Cela paie de bien des peines... La seule difficulté, c'est le pauvre Ferdinand.

Le caniche, entendant son nom, se leva et vint s'asseoir aux pieds de son maître en le regardant d'un air interrogateur.

— Oui, naturellement, je ne peux plus le promener moi-même, mais j'ai trouvé un des chasseurs, un *bell-boy** comme ils disent ici... Je vous demande un peu, pourquoi ne peuvent-ils pas dire : *chasseur* comme tout le monde ?... Ah ! ils me font rire avec leur anglais ! Enfin j'ai trouvé un jeune garçon qui accepte, moyennant une modeste rétribution, de sortir Ferdinand et de lui faire faire ses petits besoins... De sorte qu'il n'y a plus vraiment aucune question grave à résoudre... Vous êtes tout à fait gentil, cher monsieur, de m'offrir votre appui, mais ça va, je vous assure, ça va.

— Et vous ne souhaitez plus aller vivre en Amérique du Sud ?

— Non, mon cher monsieur, non... Qu'irais-je y faire ? Washington ne parle plus de l'échange des billets et, à mon âge...

Il paraissait en effet fort vieux et le régime qu'il s'était imposé ne semblait pas lui convenir. Il avait perdu son teint rose et il parlait avec peine.

— Peut-on même dire, pensai-je, qu'il soit encore en vie ?

Voyant que je ne pouvais rien pour lui, je pris congé. J'avais l'intention d'aller lui rendre visite de temps à autre, mais, quelques jours plus tard, en ouvrant le *New York Times**, mon attention fut tout de suite attiré par un titre : RÉFUGIÉ FRANÇAIS MEURT, MALLE PLEINE DE DOLLARS. Je lus l'entrefilet : il s'agissait bien de mon Bordacq. On l'avait trouvé mort, le matin, couché sur sa malle noire et enveloppé dans une couverture. La mort était naturelle, le trésor intact. Je passai au Delmonico, pour savoir quand et où aurait lieu l'enterrement. Je demandai aussi à l'employé du *front desk** des nouvelles de Ferdinand :

— Et que va devenir le chien de M. Bordacq ?

— Personne ne le réclamait, dit-il. Nous l'avons donné à la fourrière.

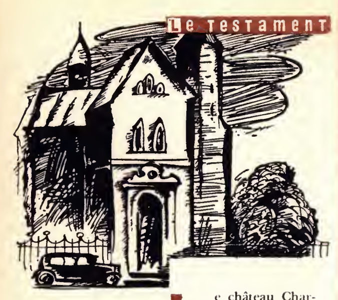
— Et l'argent ?

— S'il n'y a pas d'héritiers, il deviendra la propriété du gouvernement américain.

— C'est une belle fin, dis-je.

Mais je pensais seulement à la fin de l'histoire.

Le testament



Le château Chardeuil ayant été acheté par un industriel que la maladie et la vieillesse contraignaient à chercher une retraite campagnarde, tout le Périgord* ne parla bientôt plus que du luxe et du goût avec lesquels cette maison, abandonnée depuis un siècle par les marquis de Chardeuil, avait été restaurée. Les jardins surtout, disait-on, étaient admirables. Un architecte et paysagiste, venu de

Paris, avait barré la vallée de la Loue pour créer un lac artificiel, et fait de Chardeuil un second Versailles*.

Les beaux jardins sont rares en cette province rustique et pauvre où la plupart des châtelains imitent les Saviniac qui font de leur parc un potager. Les parterres de Chardeuil soulevèrent jusqu'à Brive*, jusqu'à Périgueux* et même jusqu'à Bordeaux une intense curiosité. Pourtant, lorsque après un an de travaux les nouveaux propriétaires vinrent habiter le pays, les visiteurs furent moins nombreux que l'on aurait pu s'y attendre. Le Périgord n'accueille les nouveaux venus qu'à bon escient et nul ne savait qui était cette Mme Bernin.

Elle semblait avoir à peine trente-cinq ans, alors que son mari en portait au moins soixante-cinq. Elle était assez belle, et, jusque dans cette solitude, changeait de robe trois fois par jour. Cela ne paraissait pas naturel et d'abord les châteaux pensèrent qu'elle était, non la femme de Bernin, mais sa maîtresse. Quand madame de La Guichardie, souveraine sociale de cette région, et qui, bien qu'elle vécût en province depuis la guerre, connaissait à merveille son Paris, affirma que Mme Bernin était bien Mme Bernin et qu'elle descendait d'une modeste, mais décente famille bourgeoise, les châteaux acceptèrent cette version, car nul, sur un tel sujet, n'eût osé contredire une femme puissante et bien informée. Cependant beaucoup de familles

continuèrent à professer en secret une doctrine hérétique et à penser que, si Mme Bernin s'appelait bien Mme Bernin, elle n'était pourtant qu'une maîtresse épousée sur le tard.

Gaston et Valentine Romilly, voisins les plus proches des Bernin puisque, de la colline de Preyssac, on aperçoit les tours de Chardeuil, estimèrent qu'ils avaient moins que personne le droit de se montrer sévères et, puisque les Bernin avaient mis des cartes à Preyssac et que Mme de La Guichardie leur donnait tout licence d'être polis, ils décidèrent de rendre la visite.

Ils furent d'autant mieux reçus qu'ils étaient parmi les premiers visiteurs. Non seulement les nouveaux châtelains les retinrent jusqu'à l'heure du thé, mais ils offrirent aux Romilly de leur faire visiter la maison, les jardins, les communs. Gaston et Valentine Romilly sentirent que ces deux êtres commençaient à souffrir de posséder tant de perfection sans pouvoir la communiquer.

Bernin gardait, de sa royauté de chef d'usine, un ton assez autoritaire et l'habitude d'affirmer de façon tranchante ses opinions sur les sujets les moins connus de lui, mais il semblait brave homme. Valentine fut touchée par la tendresse qu'il montrait pour sa femme, petite blonde, grasse, douce et gaie. Mais Mme Romilly fut choquée quand, pendant la visite du premier étage, ayant loué la surprenante transformation en un temps si court de cette maison, admiré les salles de bains qui s'étaient nichées dans l'épais-

seur des vieux murs et les ascenseurs logés dans les tourelles, elle s'entendit répondre par Mme Bernin :

— Oui, Adolphe a tenu à ce que tout fût parfait... Pour le moment, bien sûr, Chardeuil n'est pour nous qu'une maison de campagne, mais Adolphe sait que c'est ici que je compte vivre après sa mort, le plus tard possible, bien entendu, et il veut que j'y sois aussi confortable que dans une maison de ville... Vous savez peut-être qu'il a, d'un premier mariage, plusieurs enfants ?... Aussi a-t-il pris ses précautions : Chardeuil a été mis à mon nom et m'appartient entièrement.

Dans un pré voisin de la maison, les bâtiments d'une ancienne ferme avaient été transformés en écuries. Gaston admira la beauté des chevaux, la tenue parfaite des harnais, les palefreniers impeccables.

— Les chevaux sont mon plus grand plaisir, dit Mme Bernin avec animation. Papa, qui avait fait son service dans les cuirassiers, mettait ses enfants en selle dès le berceau.

Elle flatta de la main une croupe brillante, puis soupira :

— Evidemment, dit-elle, ce sera une grande dépense que d'entretenir cette cavalerie... Mais Adolphe y a pensé ; dans le testament, il est prévu qu'une fondation spéciale s'occupera, dans le parc de Chardeuil, de l'amélioration de la race chevaline... Ce sera tout à fait hors part *,

n'est-ce pas, Adolphe ? Et de cette manière, vous comprenez, j'échapperai, sur ce chapitre, aux impôts.

Les jardins n'étaient pas encore achevés, mais déjà l'on pouvait deviner le dessin général des parterres. De belles statues marquaient les points vers lesquels l'architecte souhaitait diriger les regards. Au milieu d'un long bassin rectangulaire, sur une île artificielle en ciment armé, des ouvriers dressaient des colonnes romantiques. Les promeneurs suivirent une longue allée de châtaigniers. Elle débouchait sur un groupe de maisonnettes, bâties dans le style des fermes périgourdines et couvertes de vieilles tuiles.

— Je ne connaissais pas ce village, dit Valentine.

— Ce n'est pas un village, dit Mme Bernin en riant, ce sont les communs. C'est Adolphe qui a eu l'idée de les bâtir ainsi, par maisons séparées... Et vous allez voir comme c'est ingénieux, à mon point de vue, pour l'avenir : nous avons quelques couples de domestiques dévoués que je tiens à garder, même quand je serai seule... Eh bien, Adolphe léguera à chacun d'eux la maison qu'il occupe, avec une clause annulant ce legs s'il quitte mon service... De cette façon, non seulement ils sont liés à moi, mais ils se trouvent en partie payés sans que j'aie un sou à débourser... C'est une merveilleuse garantie pour moi... Et c'est hors part, naturellement... Ses enfants ne peuvent rien dire.

— Croyez-vous, madame ? Est-ce légal ? demanda Gaston Romilly.

— Ah ! monsieur, vous ne connaissez pas Adolphe... Il a cherché une rédaction convenable, avec son homme d'affaires, pendant des heures. Vous ne pouvez pas imaginer combien il est plein d'attention, avec son air d'ours... N'est-ce pas, Adolphe ?

Elle passa son bras sous celui du vieillard, qui grogna tendrement. Cette promenade fut longue, car on ne fit grâce aux visiteurs ni de la ferme, ni de la laiterie modèle, ni du poulailler aux espèces rares où des centaines de poules merveilleusement blanches gloussaient. Quand enfin les Romilly se retrouvèrent seuls dans leur voiture, Valentine parla :

— Eh bien ? demanda-t-elle. Que dis-tu de ces gens-là ?

— Bernin me plaît, dit Gaston, il est bourru, trop content de lui, mais je le crois authentiquement bon... Elle est assez bizarre.

— Bizarre ? dit Valentine... Je la trouve effrayante... Le testament par-ci... Le testament par-là... « Quand je serai seule... Le plus tard possible »... Cette conversation tenue devant un malheureux sur tout ce qui se passera au moment de sa mort !... Vraiment c'était pénible... je ne savais que dire.

Ils restèrent assez longtemps silencieux tandis que la voiture longeait les prés brumeux et les peupliers de la vallée. Gaston, qui conduisait,

surveillait la route encombrée d'enfants sortant des écoles. Enfin il dit :

— Tout de même... C'est assez raisonnable, cet ensemble de précautions qu'il a prises pour que sa femme fût parfaitement tranquille après sa mort... En l'écoutant, je pensais à nous... J'ai eu tort de ne pas faire de testament ; je vais m'en occuper.

— Quelle idée, chéri !... Elle me fait horreur !... d'abord c'est moi qui mourrai la première.

— Pourquoi ? Tu n'en sais rien. Tu es plus jeune que moi. Tu n'as aucune maladie... Moi, au contraire...

— Tais-toi... Tu es un malade imaginaire... Tu te portes à merveille et d'ailleurs, si tu mourais, je ne voudrais pas te survivre... Que serait ma vie sans toi ? Je me tuerais.

— Comment peux-tu dire de telles folies, Valentine ? C'est absurde. Tu sais très bien que l'on ne meurt pas d'un deuil, si douloureux soit-il... Et puis tu n'as pas que moi au monde ; il y a Colette, son mari... Il y a tes petits-enfants.

— Colette a fait sa vie *... Elle n'a plus besoin de nous...

— Justement... C'est une raison pour que je prenne, moi, des précautions en ta faveur.

De nouveau ils se turent parce que la voiture traversait un banc de brume plus épais, puis Valentine reprit, à voix très basse :

— Il est certain que, si le malheur voulait que je te survive de quelques mois, je serais plus tranquille si j'avais... oh! pas un testament... cela me paraîtrait de mauvais augure... non... un simple papier spécifiant que Preyssac et ses terres devront, en tout cas, rester en ma possession jusqu'à ma mort. Notre gendre est très gentil, mais c'est un Saviniac... Il tient de son père... Il aime la terre... Il serait très capable de vouloir arrondir les siennes à mes dépens et de m'envoyer vivre dans une petite maison, n'importe où... Cela me serait douloureux...

— Il ne faut pas que cela soit possible, dit Gaston, un peu sombre... Je suis tout prêt à signer tous les papiers que tu voudras et même à te laisser Preyssac par testament... Seulement est-ce légal ? Je veux dire : est-ce que la valeur de Preyssac n'est pas plus grande que celle de ta part ?

— Un peu, mais c'est facile à régler, dit Valentine... quand tu voudras.

— Comment? dit-il. Tu as déjà posé la question à maître Passaga ?

— Oh ! par hasard, dit Valentine.

Le porche corinthien



A André Morize

Pendant les quarante années de leur vie conjugale, Lord et Lady Barchester avaient vécu dans la même maison de Park Lane*. Mais après la guerre, ils se trouvèrent gênés. Ils avaient fait de mauvais placements ; un de leurs fils avait été tué ; la veuve et les enfants restaient à la charge des parents et l'impôt sur le revenu était de cinq shillings par livre. Lord Barchester dut reconnaître qu'il ne pouvait garder à la fois son manoir familial, dans le Sussex*, et la maison de Park Lane. Après

avoir beaucoup hésité, il se décida enfin à parler de ses ennuis à sa femme. Il avait longtemps craint de l'attrister. Trente ans plus tôt, leur vie conjugale avait été orageuse, mais la vieillesse avait amené l'apaisement, l'indulgence et la tendresse.

— Ma chère, lui dit-il, je suis désolé, car je ne vois plus qu'un moyen de terminer notre vie sans déchéance, et je sais que ce moyen vous sera pénible. Je vous laisserai libre de l'accepter ou de l'écarter. Le voici : les terrains qui sont en bordure du parc ont atteint une grande valeur. Un entrepreneur a besoin de notre coin qui forme une enclave dans sa propriété. Il m'en offre un prix tel que nous pourrions, non seulement acheter une maison dans le même quartier, mais encore conserver une marge * qui assurerait notre sécurité pendant les quelques années qui nous restent à vivre. Seulement, je sais que vous aimez Barchester House, et je ne veux rien faire qui puisse vous déplaire.

Lady Barchester consentit à cet échange et, quelques mois plus tard, le vieux couple s'installa dans une nouvelle maison à quelques centaines de mètres de celle qu'il avait dû abandonner et que déjà les ouvriers avaient commencé à démolir. Lord et Lady Barchester qui, en sortant de chez eux, passaient chaque jour devant leur ancienne demeure, éprouvèrent une étrange impression en voyant se défaire lentement une forme qui, pour eux, avait été le trait le plus

nécessaire et le plus stable de l'univers. Quand ils virent leur maison sans toit, il leur sembla qu'ils étaient eux-mêmes exposés au vent et à la pluie. Lady Barchester souffrit surtout quand le mur de la façade fut éventré et qu'elle découvrit, comme sur une scène offerte aux spectateurs, la chambre de Patrick, le fils qu'elle avait perdu, et sa propre chambre où elle avait passé presque toutes les heures de quarante années.

De la rue, elle regardait le chintz glacé * à fond noir qui avait formé la tenture de la chambre. Elle l'avait contemplé si souvent, en des heures de deuil, de maladie et aussi de bonheur, que le dessin de cette étoffe lui paraissait comme le fond même sur lequel avait été dessinée sa vie. Quelques jours plus tard, elle eut une grande surprise. Les ouvriers arrachèrent le chintz et un papier noir et blanc apparut, qu'elle avait oublié, mais qui évoqua aussitôt avec une force qu'elle eut peine à comprendre, sa longue liaison avec Harry Webb. Que de fois elle avait, le matin, rêvé sans fin en regardant ces maisons japonaises après avoir lu les lettres si belles que Harry lui écrivait de l'Extrême-Orient. Elle l'avait beaucoup aimé. Il était maintenant Sir Henry Webb*, ambassadeur de Sa Majesté en Espagne.

Bientôt la pluie décolla ce papier blanc et noir, et un autre papier apparut sous le premier. C'était un dessin à fleurs assez laid, mais Lady Barchester se souvint de l'avoir choisi avec dévotion au moment de son mariage, en 1890.

En ce temps-là, elle portait des robes de serge bleue et des colliers d'ambre jaune ; elle essayait de ressembler à Mrs. Burne Jones* et elle allait, le dimanche, prendre le thé chez le vieux William Morris*. Tant que l'on put apercevoir des fragments de ce papier rose et vert, elle passa plusieurs fois par jour devant la maison, car ce dessin lui rappelait sa jeunesse et le temps de son grand amour pour Lord Barchester.

Enfin les murs eux-mêmes tombèrent et, un jour, Lord et Lady Barchester, en allant se promener à pied dans le parc, virent qu'il ne restait plus de la maison que le petit porche corinthien qui en avait abrité l'entrée. C'était un spectacle étrange et triste car ce porche, au sommet de l'escalier, s'ouvrait sur un paysage désolé de moellons entassés sous un ciel d'hiver. Lady Barchester regarda longtemps les nuages courir entre les colonnes blanches, puis elle dit à son mari :

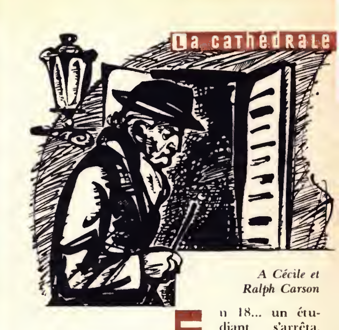
— Ce porche est lié dans mes souvenirs au jour le plus triste de ma vie. Je n'ai jamais osé vous en parler, mais nous sommes si vieux maintenant que cela n'a plus d'importance. C'était au temps où j'aimais Harry et où vous aimiez Sybil. Un soir, j'étais allée au bal pour rencontrer Harry qui revenait de Tokio. Je m'étais réjouie de cette rencontre depuis plusieurs semaines, mais Harry, lui, n'avait demandé un congé que pour se fiancer et, pendant toute la soirée, il avait dansé avec une jeune fille

en affectant de ne pas me voir. Dans la voiture, en rentrant, je pleurai. J'arrivai à la maison. Je sentis que j'étais si défigurée par les larmes que je n'eus pas le courage de me montrer à vous dans cet état. Je fis semblant de sonner, laissai partir le cocher, puis je m'appuyai à une de ces colonnes et je restai là longtemps. Je sanglotais. Il pleuvait très fort. Je savais que, vous aussi, vous pensiez à une autre femme et il me semblait que ma vie était finie. Voilà ce que me rappelle ce petit porche qui va disparaître.

Lord Barchester, qui avait écouté ce récit avec beaucoup de sympathie et d'intérêt, prit affectueusement le bras de sa femme.

— Savez-vous, dit-il, ce que nous allons faire ? Avant que l'on ne démolisse ce porche, qui est le tombeau de vos souvenirs, nous achèterons ensemble quelques fleurs et nous les déposerons au sommet de ces marches.

Le vieux couple alla chez un fleuriste, rapporta des roses et les plaça au pied d'une des colonnes corinthiennes. Le lendemain, le porche avait disparu.



A Cécile et
Ralph Carson

En 18... un étudiant s'arrêta, rue Saint-Honoré * devant la vitrine d'un marchand de tableaux. Dans cette vitrine était exposée une toile de Manet * : *la Cathédrale de Chartres*. Manet n'était alors admiré que par quelques amateurs, mais le passant avait le goût juste ; la beauté de cette peinture l'enchanta. Plusieurs jours il revint pour la voir. Enfin il osa entrer et en demanda le prix.

— Ma foi, dit le marchand, elle est ici depuis longtemps. Pour deux mille francs, je vous la céderai.

L'étudiant ne possédait pas cette somme, mais il appartenait à une famille provinciale qui n'était pas sans fortune. Un de ses oncles, quand il était parti pour Paris, lui avait dit : « Je sais ce qu'est la vie d'un jeune homme. En cas de besoin urgent, écris-moi. » Il demanda au marchand de ne pas vendre la toile avant huit jours et il écrivit à son oncle.

Ce jeune homme avait à Paris une maîtresse qui, mariée avec un homme plus âgé qu'elle, s'ennuyait. Elle était un peu vulgaire, assez sotte et fort jolie. Le soir du jour où l'étudiant avait demandé le prix de la Cathédrale, cette femme lui dit :

— J'attends demain la visite d'une amie de pension qui arrive de Toulon pour me voir. Mon mari n'a pas le temps de sortir avec nous ; je compte sur vous.

L'amie arriva le lendemain. Elle était elle-même accompagnée d'une autre. L'étudiant dut, pendant plusieurs jours, promener ces trois femmes dans Paris. Comme il payait repas, fiacres et spectacles, assez vite, son mois y passa. Il emprunta de l'argent à un camarade et commençait à être inquiet quand il reçut une lettre de son oncle. Elle contenait deux mille francs. Ce fut un grand soulagement. Il paya ses dettes et fit un cadeau à sa maîtresse. Un

collectionneur acheta la Cathédrale et, beaucoup plus tard, légua ses tableaux au Louvre.

Maintenant l'étudiant est devenu un vieil et célèbre écrivain. Son cœur est resté jeune. Il s'arrête encore, tout ému, devant un paysage ou devant une femme. Souvent dans la rue, en sortant de chez lui, il rencontre une dame âgée qui habite la maison voisine. Cette dame est son ancienne maîtresse. Son visage est déformé par la graisse ; ses yeux, qui furent beaux, soulignés par des poches ; sa lèvre surmontée de poils gris. Elle marche avec difficulté et l'on imagine ses jambes molles. L'écrivain la salue mais ne s'arrête pas, car il la sait méchante et il lui déplaît de penser qu'il l'ait aimée.

Quelquefois il entre au Louvre et monte jusqu'à la salle où est exposée la Cathédrale. Il la regarde longtemps, et soupire.

Naissance d'un Maître



Le peintre Pierre Douche achevait une nature morte, fleurs dans un pot de pharmacie, aubergines dans une assiette, quand le romancier Paul-Emile Glaise entra dans l'atelier. Glaise observa pendant quelques minutes son ami qui travaillait, puis dit fortement :

— Non.

L'autre, surpris, leva la tête, et s'arrêta de polir une aubergine.

— Non ! reprit Glaise. Non ! Tu n'arriveras jamais. Tu as du métier, tu as du talent, tu es honnête. Mais ta peinture est plate, mon bonhomme. Ça n'éclate pas, ça ne gueule pas. Dans un salon de cinq mille toiles, rien n'arrête devant les tiennes le promeneur endormi... Non, Pierre Douche, tu n'arriveras jamais. Et c'est dommage.

— Pourquoi ? soupira l'honnête Douche. Je fais ce que je vois : j'essaie d'exprimer ce que je sens.

— Il s'agit bien de ça, mon pauvre ami. Tu as une femme, mon bonhomme, une femme et trois enfants. Chacun d'eux a besoin de trois mille calories par jour. Il y a plus de tableaux que d'acheteurs, et plus d'imbéciles que de connaisseurs. Or quel est le moyen, Pierre Douche, d'émerger de la foule des inconnus et des ratés ?

— Le travail, dit Pierre Douche, la sincérité.

— Sois sérieux. Le seul moyen, Pierre Douche, de réveiller les imbéciles, c'est de faire des choses énormes. Annonce que tu vas peindre au Pôle Nord. Promène-toi vêtu en roi égyptien. Fonde une école. Mélange dans un chapeau des mots savants : extériorisation, dynamisme, subconscient, non figuratif et compose des manifestes. Nie le mouvement, ou le repos ; le blanc, ou le noir ; le cercle, ou le carré. Invente la peinture néo-homérique qui ne connaîtra que le rouge et le jaune, la peinture cylindrique, la peinture octaédrique, la peinture à quatre dimensions...

A ce moment, un parfum étrange et doux annonça l'entrée de Mme Kosnevska. C'était une belle Polonaise dont Pierre Douche admirait les yeux violets. Abonnée à des revues coûteuses qui reproduisaient à grands frais des chefs-d'œuvre d'enfants de trois ans, elle n'y trouvait pas le nom de l'honnête Douche et méprisait sa peinture. S'allongeant sur un divan, elle regarda la toile commencée, secoua ses cheveux blonds, et sourit avec un peu de dépit :

— J'ai été hier, dit-elle de son accent roulant et chantant, voir une exposition d'art nègre de la bonne époque. Ah ! la sensibilité, le modelé, la force de ça !

Le peintre apporta, pour le lui montrer, un portrait dont il était content.

— Gentil, dit-elle du bout des lèvres. Puis déçue, roulante, chantante, parfumée, elle disparut.

Pierre Douche jeta sa palette dans un coin et se laissa tomber sur le divan : « Je vais, dit-il, me faire inspecteur d'assurances, employé de banque, agent de police. La peinture est le dernier des métiers. Le succès, fait par des badauds, ne va qu'à des faiseurs. Au lieu de respecter les maîtres, les critiques encouragent les barbares. J'en ai assez ; je renonce. »

Paul-Emile, ayant écouté, alluma une cigarette et réfléchit assez longuement.

— Te sens-tu capable, dit-il enfin, d'annoncer avec un sérieux pontifical à la Kosnevska, et à

quelques autres, que tu prépares depuis dix ans un renouvellement de ta manière ?

— Moi ?

— Ecoute... Je vais informer nos « élites », en deux articles bien placés, que tu fondes l'école idéo-analytique. Jusqu'à toi, les portraitistes, dans leur ignorance, ont étudié le visage humain. Sottise ! Non, ce qui représente vraiment l'homme, ce sont les idées qu'il évoque en nous. Ainsi le portrait d'un colonel, c'est un fond bleu et or que barrent cinq énormes galons, un cheval dans un coin, des croix dans l'autre. Le portrait d'un industriel, c'est une cheminée d'usine, un poing fermé sur une table. Comprends-tu, Pierre Douche, ce que tu apportes au monde, et peux-tu me peindre en un mois vingt portraits idéo-analytiques ?

Le peintre sourit tristement.

— En une heure, dit-il, et ce qui est triste, Glaise, c'est que, si j'étais un autre homme, cela pourrait réussir.

— Essayons.

— Je manque de bagout.

— Alors, mon bonhomme, à toute demande d'explication, tu prendras un temps, tu allumeras ta pipe, tu lanceras une bouffée au nez du questionneur, et tu diras ces simples mots :

« Avez-vous jamais regardé un fleuve ? »

— Et qu'est-ce que cela veut dire ?

— Rien, dit Glaise, aussi te trouveront-ils très

fort, et quand ils t'auront découvert, expliqué, exalté, nous raconterons l'aventure et jouirons de leur confusion.

Deux mois plus tard, le vernissage de l'Exposition Douche s'achevait en triomphe. Chantante, roulante, parfumée, la belle Mme Kosnevska ne quittait plus son nouveau grand homme.

— Ah ! répétait-elle, la sensibilité ! le modelé ! la force de ça ! Et comment, cher, êtes-vous parvenu à ces synthèses étonnantes ?

Le peintre prit un temps, ralluma sa pipe, lança une forte bouffée et dit : « Avez-vous jamais, madame, regardé un fleuve ? »

Les lèvres de la belle Polonaise, émues, promirent des bonheurs roulants et chantants.

En pardessus à col de lapin, le jeune et brillant Strunski discutait au milieu d'un groupe : « Très fort ! disait-il. Très fort ! Mais, dites-moi, Douche, la révélation ? D'où vous vint-elle ? De mes articles ? »

Pierre Douche prit un temps considérable, lui souffla au nez une bouffée triomphante et dit : « Avez-vous jamais, mon cher, regardé un fleuve ? »

— Admirable ! approuva l'autre ; admirable !

A ce moment, un célèbre marchand de tableaux, ayant achevé le tour de l'atelier, prit le peintre par la manche et l'entraîna dans un coin.

— Douche, mon ami, dit-il, vous êtes un malin. On peut faire un lancement de ceci. Réservez-moi votre production. Ne changez pas de manière avant que je ne vous le dise, et je vous achète cinquante tableaux par an... Ça va ?

Douche, énigmatique, fuma sans répondre.

Lentement l'atelier se vida. Paul-Emile Glaise alla fermer la porte derrière le dernier visiteur. On entendit dans l'escalier un murmure admiratif qui s'éloignait. Puis, resté seul avec le peintre, le romancier mit joyeusement les mains dans ses poches.

— Eh bien ! mon bonhomme, dit-il, crois-tu que nous les avons eus ? As-tu entendu le petit au col de lapin ? Et la belle Polonaise ? Et les trois jolies jeunes filles qui répétaient : « Si neuf ! Si neuf ! » Ah ! Pierre Douche, je croyais la bêtise humaine insondable, mais ceci passe mes espérances.

Il fut pris d'une crise de rire inextinguible. Le peintre fronça le sourcil et, comme des hoquets convulsifs secouaient l'autre, dit brusquement :

— Imbécile !

— Imbécile ? cria le romancier furieux. Quand je viens de réussir la plus belle charge que depuis Bixiou...

Le peintre parcourut des yeux avec orgueil les vingt portraits analytiques et dit avec la force que donne la certitude :

— Oui, Glaise, tu *es* un imbécile. Il y a quelque chose dans cette peinture...

Le romancier contempla son ami avec stupeur.

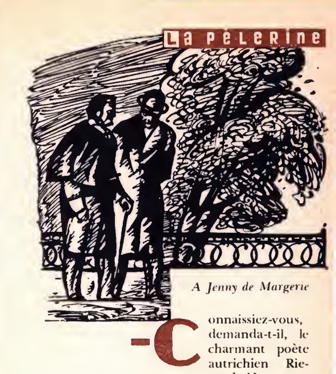
— Celle-là est forte ! hurla-t-il. Douche, souviens-toi. Qui t'a suggéré cette manière nouvelle ?

Alors Pierre Douche prit un temps, et, tirant de sa pipe une énorme bouffée :

— As-tu jamais, dit-il, regardé un fleuve ?

1919

La pèlerine



A Jenny de Margerie

— Connaissiez-vous, demanda-t-il, le charmant poète autrichien Riesenthal ?

— Je ne l'avais, dis-je, rencontré qu'une fois. Je me souviens qu'il avait, ce jour-là, parlé de la Russie avec un mélange ravissant de simplicité et de mystère... Autour de ces récits flottait une brume légère qui donnait aux personnages décrits par lui des contours imprécis et des formes plus qu'humaines... Sa voix même était étrange et comme voilée. Oui, vraiment, je ne

Странный глухой

l'avais vu qu'une fois et déjà je l'aimais mieux que bien des hommes que j'ai connus toute ma vie... Peu de temps après cette brève rencontre, j'ai appris sa mort, avec tristesse, mais sans surprise, car il avait à peine l'air d'un vivant... Depuis, bien souvent, en voyageant dans les pays les plus divers, en France, en Allemagne, en Italie, partout j'ai rencontré des amis de Riesenthal... Tantôt c'est un homme, tantôt une femme, dont il a rempli la vie, formé l'esprit et qui, à cause de lui, demeure aujourd'hui plus délicat et plus sensible que les autres êtres humains.

— Je suis content de ce que vous me dites, répondit-il, car j'étais un ami de Riesenthal. Comme vous, je l'avais un jour vu pendant une heure et n'avais pu l'oublier. Il y a trois ans, traversant mon pays, il se souvint de moi, m'écrivit et s'arrêta chez moi pour un jour. C'était au début de l'automne et déjà l'air était frais. J'habite au pied de hautes montagnes. Riesenthal, frileux et fragile, souffrit de n'avoir pas apporté de vêtements assez chauds. « Pourriez-vous, me dit-il en souriant, me prêter un pardessus ? » Vous voyez que je suis beaucoup plus gros et plus grand que notre ami. J'allai chercher une pèlerine brune que j'avais l'habitude de porter pour la chasse, pendant l'hiver. Riesenthal, amusé, me fit voir qu'il pouvait s'y envelopper sous une double épaisseur d'étoffe et, ainsi roulé dans ma pèlerine, il

se promena longtemps avec moi sous les arbres.

Ce jour-là, ma maison, mon jardin, les feuilles rougissantes, les hautes montagnes qui nous entouraient et, le soir, le feu de bois dans ma cheminée, lui plurent tant qu'il décida de rester un jour de plus... Pendant la nuit, il étala la pèlerine brune sur le lit et, le lendemain matin, la remit, comme une robe de chambre, pour travailler. Le soir, il me dit qu'il n'avait pas envie de partir; de mon côté, je ne souhaitais que garder chez moi le plus longtemps possible cet être unique et délicieux. Ainsi, les jours s'accrochant aux jours, il resta deux semaines pendant lesquelles il vécut blotti dans ma pèlerine. Enfin, il partit, me laissant, souvenir de ce séjour, un poème. Quelques mois plus tard, j'appris sa mort.

L'automne qui suivit cette mort, je reçus une autre visite, celle d'un écrivain français dont j'aime le style transparent et lisse et que je connaissais alors très peu. Lui aussi s'était arrêté dans ma petite ville pour un seul jour, car il allait à Vienne. Pendant le déjeuner, la conversation fut difficile. Il me semblait que l'amitié que j'avais espérée s'éloignait, que nous étions trop différents l'un de l'autre, et je compris avec regret que nous allions nous séparer sans avoir rien dit de sincère, ni de profond. Après le repas, nous nous promenâmes sous les arbres jaunissants. Il se plaignit de l'humidité et j'allai lui chercher la pèlerine de Riesenthal.

C'est un fait assez étrange, mais dès qu'il eut ce vêtement sur les épaules, mon hôte sembla transformé. Son esprit, naturellement précis et parfois amer, parut soudain voilé de mélancolie. Il devint confidentiel, presque tendre. Enfin, quand la nuit tomba, une amitié était nouée et, comme jadis Riesenthal, ce visiteur d'automne, venu pour un jour, passa chez moi deux semaines entières.

Après cela, vous imaginez que la pèlerine brune devint pour moi un objet très cher auquel j'associai, sans beaucoup y croire un pouvoir symbolique et bienfaisant.

Au cours de l'hiver qui suivit, je devins amoureux d'une Viennoise, admirablement belle, Ingeborg de Dietrich. Elle appartenait à une famille noble et ruinée ; elle gagnait sa vie en travaillant chez un éditeur. Je lui offris de l'épouser, mais elle était, comme la plupart de ces jeunes filles élevées après la guerre, fanatique d'indépendance et, tout en me laissant voir que je ne lui déplaisais pas, elle me dit qu'elle ne pouvait supporter l'idée de se lier par un mariage. Je ne pouvais, moi, sans souffrir, la voir libre dans une grande ville et entourée d'hommes sans scrupules. Nous vécûmes ainsi plusieurs mois pénibles.

Au printemps, Ingeborg consentit à me rendre visite dans ma maison du Wienerwald *. Le premier soir de son séjour, nous sortîmes dans le jardin, après le dîner, et je lui dis :

« Voulez-vous me faire un grand plaisir ? Permettez-moi, au lieu de votre manteau, de placer sur vos épaules une pèlerine qui m'appartient... Je sais que vous n'êtes pas sentimentale... Ce désir doit vous paraître absurde... Que vous importe ?... C'est le premier soir que vous passez chez moi ; accordez-moi cela, je vous en prie. »

Elle rit et, tout en se moquant de moi avec beaucoup de grâce, elle accepta.

Il s'interrompit parce que, dans la brume du soir, au fond de l'allée, une forme charmante glissait vers nous, enveloppée d'une pèlerine brune.

— Vous connaissez ma femme ? dit-il.

Le retour du prisonnier



Cette histoire est une histoire vraie. Elle s'est passée en 1945, dans un village de France que nous appellerons Chardeuil, bien que ce ne soit pas son nom réel, que nous ne pouvons donner, pour des raisons évidentes. Elle commence dans un train qui ramène d'Allemagne des prisonniers français. Ils sont douze dans un compartiment de dix, affreusement serrés, épuisés de fatigue, mais excités et heureux parce qu'ils savent

qu'enfin, après cinq ans d'absence, ils vont revoir leur pays, leur maison, leur famille.

Pour presque tous, l'image qui, pendant ce voyage, domine leur pensée, c'est celle d'une femme. Tous pensent à elle avec amour, avec espoir, quelques-uns avec anxiété. La retrouveront-ils semblable, fidèle ? Qui aura-t-elle vu, qu'aura-t-elle fait pendant cette longue solitude ? La reprise de la vie en commun sera-t-elle possible ? Ceux qui ont des enfants sont les moins inquiets. Leur femme a dû surtout s'occuper de ceux-ci et leur présence, leur gaieté rendront faciles les premiers jours.

Dans un coin du compartiment est assis un homme grand, maigre, dont le visage passionné, les yeux brillants de fièvre sont plus espagnols que français. Il se nomme Renaud Leymarie et il est originaire de Chardeuil, en Périgord. Tandis que le train roule dans la nuit et que, de temps à autre, le sifflet de la machine se détache sur la basse monotone des roues, il parle avec son voisin :

— Tu es marié, toi, Saturnin ?

— Bien sûr que je suis marié... Deux ans avant la guerre, deux gosses... Elle s'appelle Marthe ; tu veux la voir ?

Saturnin, petit homme gai, visage balafré, tire de sa poche intérieure un portefeuille usé, graisseux, et montre fièrement une photographie déchirée.

— Elle est rudement bien, dit Leymarie. Et tu n'es pas inquiet de ce retour?

— Inquiet?... Je suis fou de joie. Pourquoi inquiet?

— Parce qu'elle est jolie, parce qu'elle était seule, parce qu'il y a tant d'autres hommes...

— Tu me fais rire! Il n'y a jamais eu d'autres hommes pour Marthe... On a toujours été heureux ensemble.., Et si je te montrais les lettres qu'elle m'écrit depuis cinq ans...

— Oh! les lettres! Ça ne prouve rien... Moi aussi, j'ai reçu de belles lettres... Et pourtant *je suis* inquiet.

— T'es pas sûr de ta femme?

— Si... Du moins je l'étais... peut-être plus que personne... Nous, on était mariés depuis six ans et il n'y avait jamais eu un nuage.

— Alors?

— C'est une question de nature, mon vieux... Je suis de ceux qui ne peuvent jamais croire au bonheur. Toujours je me suis dit qu'Hélène était trop bien pour moi, trop belle, trop intelligente... C'est une femme qui est instruite, qui sait tout faire... Elle touche à un chiffon; ça devient une robe... Elle meuble une petite maison de paysans; ça devient le Paradis... Alors je me dis que, pendant la guerre, il y a beaucoup de réfugiés chez nous et, parmi eux, des types bien mieux que moi... Peut-être aussi des étrangers, des Alliés *... La plus jolie femme du village leur a certainement tiré l'œil.

— Et puis après ? Si elle t'aime...

— Oui, mon vieux, mais te représentes-tu ce que c'est que d'être seule, cinq ans ?... C'est pas son pays, Chardeuil, c'est le mien. Elle n'y a pas de famille. Alors la tentation a dû être forte.

— Tu me fais rire, que je te dis ! Tu as l'esprit mal fait... Et puis, suppose même qu'il y ait eu quelque chose... Qu'est-ce que ça fait, si elle l'a oublié ? Si c'est toi seul qui comptes ?... Tiens, moi, vois-tu on me dirait que Marthe... Eh bien ! je répondrais : « Pas un mot de plus !... Elle est ma femme ; c'était la guerre ; elle était seule ; maintenant c'est la paix... On repart à zéro *. »

— Je ne suis pas comme ça, dit Leymarie. Si j'apprenais, au retour, qu'il y a eu la moindre chose...

— Qu'est-ce que tu ferais ? Tu la tuerais ? T'es tout de même pas cinglé * ?...

— Non, je ne lui ferais rien. Pas même un reproche. Mais je disparaîtrais. J'irais vivre ailleurs, sous un faux nom. Je lui laisserais l'argent, la maison... J'ai besoin de rien, j'ai un métier... Je me referais une vie... C'est peut-être idiot, mais je suis comme ça : tout ou rien...

La locomotive siffla ; des aiguilles ferraillèrent ; on entrait dans une gare. Les deux hommes se turent.

Le maire de Chardeuil était l'instituteur du village. C'était un brave homme, paternel et

prudent. Quand il reçut du Ministère, un matin, l'avis annonçant le retour, pour le vingt août, de Renaud Leymarie, qui faisait partie d'un convoi dirigé sur le Sud-Ouest, il décida d'aller lui-même prévenir la femme. Il la trouva qui travaillait à son jardin ; c'était le plus charmant du village, avec ses rosiers grimpants des deux côtés de la porte.

— Je sais bien, madame Leymarie, que vous n'êtes pas de ces femmes qu'il faut avertir du retour de leur mari, pour leur épargner une surprise dangereuse... Non, et même, si vous me permettez de le dire, votre conduite, votre réserve ont fait ici l'admiration de tout le monde... Même les commères, qui ne sont généralement pas tendres pour les autres femmes, n'ont rien trouvé à dire sur vous.

— On trouve toujours quelque chose, monsieur le maire, dit-elle en souriant.

— Je l'aurais cru, madame, je l'aurais cru... Mais vous les avez toutes désarmées... Non, la raison pour laquelle je vous préviens, c'est d'abord pour voir votre joie... et je vous assure qu'elle m'a fait plaisir, et aussi parce que vous voudrez, je pense, lui préparer un beau retour... Vous êtes comme nous tous, vous ne mangez pas bien tous les jours, mais pour une occasion comme ça...

— Vous avez eu mille fois raison, monsieur le maire. Je vais faire à Renaud un beau retour...

Vous dites le vingt ? A quelle heure pensez-vous qu'il soit là ?

— Le Ministère dit : « *Le convoi quittera Paris à vingt-trois heures.* » Ces trains-là marchent lentement... Il faut qu'il descende à la gare de Thiviers*, ce qui lui fait encore quatre kilomètres à pied. Il pourrait être ici, au plus tôt, vers midi.

— Je vous assure qu'il aura un déjeuner soigné, monsieur le maire... et je suis certaine que vous comprendrez que je ne vous invite pas à le partager... Mais je vous suis bien reconnaissante de votre visite.

— Tout le monde à Chardeuil vous aime, madame Leymarie... Vous n'êtes pas d'ici, c'est vrai, mais on vous a adoptée.

Le vingt au matin, Hélène Leymarie se leva à six heures. Elle n'avait pas dormi. La veille, elle avait fait la toilette de toute la maison, lavé les carrelages, fait briller les planchers, remplacé par des rubans frais ceux, défraîchis, qui retenaient les rideaux des fenêtres. Puis elle était allée chez Martial, le coiffeur de Chardeuil, se faire onduler et elle avait dormi avec un filet pour que ses cheveux fussent bien en plis au matin. Elle avait passé la revue de son linge et choisi avec amour celui de soie, qu'elle n'avait jamais porté pendant sa longue solitude. Quelle robe mettrait-elle ? Celle qu'il préférait jadis était

une robe bleue et blanche à rayure pékinée*. Mais elle l'avait essayée et avait constaté avec détresse que la ceinture flottait sur son corps amaigri par les restrictions. Non, elle mettrait une robe noire qu'elle s'était taillée elle-même et qu'elle égaierait par un col et une ceinture de couleur.

Avant de préparer le déjeuner, elle se rappela tout ce qu'il aimait... Dans cette France de 1945, tant de choses manquaient... Un dessert au chocolat ?... Oui, c'était ce qu'il préférait, mais il n'y avait pas de chocolat... Heureusement, elle possédait quelques œufs frais grâce à sa petite basse-cour, et il disait toujours qu'elle faisait les omelettes mieux que personne... Il aimait la viande rouge, les pommes frites, mais le boucher de Chardeuil avait fermé boutique depuis deux jours... Elle avait un poulet, tué l'avant-veille ; elle le fit rôtir. Puis comme une voisine affirmait que dans la petite ville la plus proche, un épicier vendait du chocolat « sous le comptoir », elle décida d'aller en chercher.

« En partant à huit heures, je peux être rentrée à neuf... Je préparerai tout avant de partir, de sorte qu'au retour, je n'aurai plus qu'à m'occuper de la cuisine. »

Bien que très émue, elle était merveilleusement gaie. Il faisait si beau. Jamais le soleil matinal, sur la vallée, n'avait été plus brillant. En chantant, elle commença de mettre le couvert : « La nappe à carreaux rouges et blancs... Elle a

été celle de notre premier repas pris en ménage... Les assiettes roses dont les images l'amusaient... Une bouteille de mousseux... et surtout des fleurs... Il aimait tant les fleurs sur la table, et il disait que je les arrangeais mieux que personne. »

Elle composa un bouquet tricolore : marguerites blanches, coquelicots, bleuets, avec quelques épis d'avoine. Puis, avant de quitter la maison, appuyée sur sa bicyclette, elle regarda longuement, par la fenêtre ouverte, la petite salle. Oui, vraiment, tout semblait parfait. Après tant de malheurs, Renaud serait surpris sans doute de retrouver sa maison et sa femme peu changées... Par la fenêtre, elle se voyait dans le grand miroir. Un peu trop maigre, peut-être, mais si blanche, si jeune, et si évidemment amoureuse... Elle se sentait fondre de bonheur.

« Allons ! » se dit-elle, « il faut y aller... Quelle heure ? Déjà neuf heures, Seigneur !... Tout cela m'a pris plus de temps que je ne pensais... Mais le maire a dit que le convoi arriverait vers midi... Je serai là bien avant. »

La petite maison des Leymarie était isolée et se trouvait tout au bout du village, de sorte que personne ne vit un soldat maigre, aux yeux ardents, se glisser dans le jardin. Il resta là un instant, ébloui par la lumière et le bonheur, enivré par la beauté des fleurs, écoutant le

murmure des abeilles. Puis il appela doucement :

— Hélène !

Personne ne répondit. Il appela plusieurs fois :

— Hélène !... Hélène !...

Effrayé par le silence, il s'approcha et, par la fenêtre, il vit la table préparée pour deux, les fleurs, la bouteille de mousseux. Il eut comme un coup au cœur et dut s'appuyer au mur :

« Dieu ! » pensa-t-il... « Elle ne vit pas seule ! »

Quand Hélène revint, une heure plus tard, une voisine lui dit :

— Je l'ai vu, vot' Renaud ; il courait sur la route ; j'ai appelé, mais il s'est point seulement retourné.

— Il courait ?... Mais dans quelle direction ?

— Vers Thiviers.

Elle bondit chez le maire, qui ne savait rien.

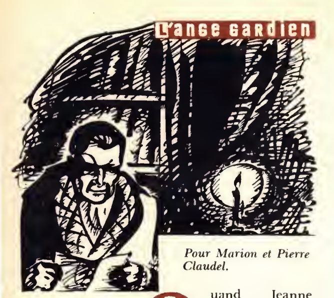
— J'ai peur, monsieur le maire... J'ai grand-peur... Renaud, avec son air dur, est un homme jaloux, sensible... Il a vu deux couverts... Il n'a pas dû comprendre que c'était *lui* que j'attendais... Il faut le retrouver tout de suite, monsieur le maire... Il faut... Il serait capable de ne plus revenir... Et je l'aime tant !

Le maire envoya un cycliste à la gare de Thiviers, alerta les gendarmes, mais Leymarie (Renaud) avait disparu, Hélène resta toute la nuit près de la table où les fleurs, par la grande chaleur, se fanaient déjà. Elle ne mangea rien.

Un jour passa, puis une semaine, puis un mois.

Il y a maintenant plus de deux ans depuis ce jour tragique et elle n'a jamais entendu parler de son mari. J'écris cette histoire dans l'espoir qu'il la lira, et reviendra.

L'ange gardien



Pour Marion et Pierre Claudel.

Quand Jeanne Bertaut mourut, à trente ans, nous pensâmes tous que la carrière de Victor Bertaut était finie. Garçon travailleur, impérieux, et l'un des meilleurs orateurs de sa génération, Victor, par beaucoup de traits, semblait fait pour réussir dans la vie politique. Mais ceux qui, comme moi-même, avaient été avec lui au lycée, au régiment, connaissaient trop bien ses faiblesses pour penser qu'il eût l'étoffe d'un homme d'Etat. Se

faire élire député, étonner la Chambre par son bagout, de cela certes nous le savions capable. Nous ne pouvions l'imaginer dirigeant un ministère, collaborant avec des collègues, se faisant respecter par le pays. Ses erreurs n'étaient pas moins éclatantes que ses succès. Il aimait trop les femmes et avait en son pouvoir de séduction une si naïve confiance qu'il ne doutait pas assez des sentiments qu'il leur inspirait. Dans un débat, toujours sûr d'avoir raison, il se montrait incapable de tenir compte des arguments et des chances de l'adversaire. Enfin il était sujet à des accès de colère au cours desquels la violence de ses propos dépassait celle de sa pensée ce qui, plus d'une fois, l'avait brouillé sans remède avec des hommes dont il avait besoin.

Pour toutes ces raisons je l'avais cru, malgré sa merveilleuse intelligence, destiné à l'échec jusqu'au jour où, à ma grande surprise, il avait épousé Jeanne. Comment l'avait-il connue ? Je ne l'ai jamais su. L'étonnant n'était pas qu'il l'eût rencontrée, mais qu'il l'eût appréciée. A la vérité je crois que, bien avant lui, elle comprit ce qu'elle pouvait lui apporter et la force que représenterait leur couple. Sur quoi elle s'attacha à le conquérir, puis à le fixer, et dans cette double entreprise réussit. Elle était aussi différente de lui que possible, aussi calme qu'il était brutal, aussi modérée qu'il était fanatique, aussi indulgente qu'il était sévère, aussi réservée qu'il était bavard. Beaucoup moins belle que d'autres

femmes qu'il avait aimées, elle avait un charme indéniable qui tenait à sa fraîcheur, à un air de santé rustique, à la droiture de son regard et à la gaieté de son sourire. Elle était prodigieusement française. J'ai connu jadis un Américain qui souhaitait épouser une Française pour l'amour de l'Henriette des *Femmes Savantes**. Il aurait dû épouser Jeanne Bertaut, qui incarnait très exactement l'Henriette de Molière, avec sa saine et franche sensualité, sa simplicité, sa force.

Que Bertaut fut capable de découvrir tant de vertus si bien cachées, et surtout capable de s'y attacher de manière durable et passionnée, j'avoue que je ne l'aurais pas prévu. Mais j'aurais eu tort, car jamais un ménage ne fut plus constamment uni. Dès que Jeanne eut ferré, puis épousé son grand homme*, ils ne se quittèrent plus. Elle travaillait avec lui, allait à la Chambre chaque jour, le suivait dans sa circonscription et très finement, sans qu'il en pût prendre ombrage, le conseillait. A la voir vivre et agir, j'ai compris pourquoi les femmes françaises ont attendu avec tant de patience leur droit de vote. En fait Jeanne Bertaut disposait d'un siège au Parlement et je commençais à penser que bientôt elle entrerait dans un cabinet ministériel, sous le nom de son époux.

La situation de Bertaut dans son parti avait en effet été transformée par ce mariage. Les vieillards puissants, les personnages consulaires* ne disaient plus : « Bertaut ?... Très intelli-

gent, et bon orateur, mais cerveau brûlé... » Maintenant, quand on nommait Victor, ils hochaient la tête avec approbation : « Bertaut ?... Oui... Un peu jeune, mais un de nos espoirs... Mûr pour un sous-secrétariat d'Etat *... » Le plus remarquable était que ce résultat avait été obtenu sans perdre les bonnes grâces de l'aile gauche du parti, plus agressive. De temps à autre un mouvement de rage amenait encore, sur les lèvres de Bertaut, quelque injuste et dangereuse invective contre un ami, mais aussitôt Jeanne intervenait pour obtenir un mot d'excuses, une main tendue, et tout s'arrangeait. Quant aux aventures amoureuses, les salons de Paris eux-mêmes n'en trouvaient plus trace dans la vie de Bertaut, ou du moins il n'était amoureux que d'une femme, la sienne, amoureux comme un collégien, et qui ne rougissait pas de l'avouer.

Tels étaient le grand succès et le charmant bonheur qui furent coupés net par la mort de Jeanne Bertaut. Je me souviens qu'en revenant du cimetière Montmartre avec Bertrand Schmitt, le romancier, qui avait été l'un des meilleurs amis du ménage, je lui dis :

— Pauvre Victor !... Son désespoir semble encore plus pathétique que ne serait celui d'un autre... Il est à l'ordinaire si sûr de lui, si naturellement triomphant et tonitruant, que le voir ainsi effondré, en larmes, surprend et attendrit.

— Oui, dit Bertrand. Elle l'avait rebâti de fond en comble... Elle le défendait contre lui-même. Privé d'elle, il va revenir à sa première nature qui n'est pas de tout repos... Je le vois assez bien tombant dans la débauche. *Recours à l'Abîme...* Nous lui avons offert, Isabelle et moi, de venir se cacher à la campagne, dans notre Périgord, mais il en est encore à cette période où l'on refuse de quitter la maison qui a été celle du bonheur... Il faut attendre.

Je m'abstins, pendant quelques mois, de troubler la douleur de Bertaut et me bornai à lui écrire que, si jamais il souhaitait revoir d'anciens amis, j'étais à sa disposition. Sa secrétaire me répondit par un mot courtois et vague. A la rentrée d'octobre*, on le revit au Palais-Bourbon*. Il y fut accueilli avec les sympathies qui allaient tout naturellement à son deuil, mais ses collègues le trouvèrent bientôt aussi difficile à vivre que par le passé. Plus difficile même, car à ses colères se mêlait maintenant une glaciale amertume qui était chez lui nouvelle et pénible. Pour moi, je n'avais pas à me plaindre de lui. Nous dînions ensemble une ou deux fois par mois ; il me traitait avec une amitié bourrue qui ne me déplaisait pas. Mais il ne parlait jamais de sa femme et affectait, sur les questions sentimentales, un cynisme qui me parut être une réaction de défense contre l'émotion.

Vers la fin de décembre, le ministère tomba comme il arrivait alors trois ou quatre fois par an, et les journaux annoncèrent que Briand *, chargé de former le nouveau cabinet, avait offert le Ministère des Postes à Victor Bertaut, député de la Drôme *. Un peu plus tard la liste officielle des ministres fut publiée ; Bertaut en était et j'allai le féliciter. Je le trouvai dans un de ses mauvais jours.

— Oh ! Je t'en supplie ! Pas de phrases ! me dit-il. Si tu savais ce que c'est !... Je n'ai encore pris part qu'à deux réunions du Conseil et déjà il est probable que je vais donner ma démission... Je me suis querellé, très violemment, avec les Finances * et les Travaux Publics *. En outre ce ministère des P.T.T. est une pétaudière... Tout le monde y commande, sauf le ministre... Le syndicat des agents * est tout-puissant... Non, vraiment, ça ne mérite pas de compliments !

Pendant quelques jours, en ouvrant chaque matin le journal, je m'attendais à y trouver la démission de Bertaut. Elle ne vint pas. La semaine suivante, comme je sortais un jour de chez moi, je rencontrai Bertrand Schmitt et, faisant route ensemble, tout naturellement nous parlâmes de notre ami.

— Vous avez su, dit Bertrand Schmitt, sa curieuse aventure ?

— Vous parlez de son portefeuille ?

— Pas exactement, dit Schmitt. Je parle de la lettre.

— Quelle lettre ?... Je ne connais pas cette histoire.

— Ah ! ce serait un beau sujet de nouvelle, dit Schmitt avec cette gourmandise heureuse de l'écrivain qui flaire un thème... Je ne sais si on vous a dit que Bertaut, à peine arrivé au pouvoir, avait fait des siennes, cassé quelques vitres, et s'était rendu insupportable à ses collègues...

— Oui, dis-je. Il me l'a lui-même avoué.

— Briand est indulgent, bon enfant, mais tout de même sa patience a des limites... Après une scène en plein Conseil des Ministres, où Bertaut avait dépassé les bornes et insulté le pauvre Chéron *, le Président allait demander à notre ami sa démission quand un coup de théâtre s'est produit... A la surprise de tous ses collègues, Victor, notre intransigeant Victor, s'est rendu spontanément au Ministère des Finances pour y faire à Chéron une visite d'excuses au cours de laquelle il s'est montré si caressant, si repentant et si franc, que Chéron lui-même est allé plaider sa cause auprès de Briand... De sorte que tout s'est arrangé et que Victor reste aux P.T.T.

— Et comment, demandai-je, expliquez-vous ce revirement ?... Il n'est guère dans la nature de Bertaut.

— Je n'ai aucun mérite à l'expliquer, dit Schmitt, car Victor m'a lui-même donné la clef de ce mystère... Et c'est là que commence l'aventure... Le lendemain de l'accrochage avec Chéron, comme il allait sortir de chez lui, sa

secrétaire lui a remis une lettre qui portait la mention : *Personnelle* et qui venait d'arriver. Avec surprise, avec émotion, puis avec terreur, il a cru reconnaître l'écriture de Jeanne. Il a déchiré l'enveloppe. La lettre était de sa femme, à n'en pas douter. Il m'en a lu des passages ; naturellement je ne la sais pas par cœur ; mais c'est mon métier de romancier que de reconstituer de tels documents... En substance, Jeanne avait écrit : « Mon chéri, tu vas être d'abord bien troublé en recevant une lettre de moi. Rassure-toi, ce n'est pas une lettre d'outre-tombe et ce message n'a rien d'infernal. Avant de partir pour la clinique, me sentant très faible et ne sachant pas si l'opération réussirait, j'ai, comme il est naturel, surtout pensé à toi. J'ai essayé d'imaginer ce que tu deviendrais si je ne sortais pas vivante de cette épreuve... Je te connais bien, mon chéri, mieux que tu ne te connais toi-même et j'ai un peu peur de toi, pour toi... Je suis loin de te valoir, chéri, mais j'étais à tes côtés comme un frein. C'est très utile, un frein, sur une voiture de course. Est-ce que je ne te manquerai pas un peu ? Je ne puis m'empêcher de le croire, de l'espérer...Alors je me suis dit qu'en somme rien ne m'empêcherait de rester près de toi en esprit et j'ai écrit pour toi cette lettre. Je vais la confier à un ami discret en lui demandant de ne te l'envoyer que si certains événements, que je prévois, arrivent réellement un jour. En ce cas, et si je ne me suis pas trompée, tu trouveras ici les choses que je

t'aurais dites si j'avais été présente... Puisque aujourd'hui la lettre est entre tes mains, c'est la preuve que mes petites prophéties ont été exactes. Etends-toi près de moi, chéri ; prends ma main, mets ta tête sur mon épaule et écoute, comme tu écoutais jadis... »

— Vous inventez, Bertrand, ou vous citez ?

— Je fais de mon mieux pour citer et, si les mots sont peut-être différents, la pensée est bien celle de Jeanne Bertaut.

— Etes-vous sûr, mon cher, que vous n'êtes pas vous-même l'ami discret ?

— Ne dites jamais cela, je vous en prie ! s'écria vivement Schmitt. Bref, Jeanne avait prévu, pour son mari, et les honneurs, et les querelles. Elle lui conseillait générosité, modération, et franchise.

— D'où la visite à Chéron ?

— D'où en effet la visite d'excuses qui a été, pour la pauvre femme, un plein succès posthume.

— Quelle belle histoire, Bertrand ! J'espère que vous l'écrirez.

— Je l'écrirai peut-être un jour... En ce moment, je n'en ai pas le droit.

Quand je vis Bertaut, la semaine suivante, il me confirma le récit de Bertrand Schmitt. Cet ange gardien, venant l'effleurer de son aile, l'avait à coup sûr beaucoup ému et il me sembla que le dur cynisme dont il avait fait preuve depuis un an tendait à se dissiper... Je ne me

trompais pas. Plusieurs de ses collègues me confirmèrent l'heureux effet produit sur notre ami par le message de la morte.

Tout alla donc bien pour Bertaut pendant quelques mois. Il remettait de l'ordre dans l'administration des Postes. Toute la France le louait. Son étoile montait. Puis le ministère Briand tomba, comme il fallait bien s'y attendre, et Bertaut alla prendre des vacances au Maroc, sous prétexte d'un voyage d'études*. Là, il s'amouracha de cette étrange personne, Dora Bergmann, exploratrice et poétesse, qui voyageait parmi les tribus de l'Atlas*, déguisée en goumier, et dont on parlait alors beaucoup. Que notre ami fût capable d'aimer de nouveau, d'oublier son chagrin et peut-être un jour de se remarier, nous étions prêts à nous en réjouir. Jamais nous n'avions souhaité, pour cet homme jeune, une impossible fidélité à une ombre. Pourtant il faut dire que son choix nous inquiéta. Dora Bergmann était belle, à son étrange manière ; elle avait du talent (ses vers ressemblent à ceux de Mme de Noailles* si l'on substitue des paysages africains à ceux de l'Ile-de-France) ; mais son passé, sa réputation n'inspiraient aucune confiance. Elle avait eu des liaisons multiples et, détail suspect, toujours avec des officiers ou de hauts fonctionnaires coloniaux ; certains pensaient qu'elle était un agent étranger. C'était peut-être faux ; je n'ai là-dessus aucun renseignement sérieux ; en tout cas rien

n'était mieux fait pour détruire le prestige et les chances d'avancement d'un homme politique qu'une intimité avec cette aventurière.

Quand Bertaut revint à Paris, ramenant avec lui Dora Bergmann, quelques-uns d'entre nous essayèrent de l'éclairer. Nous n'avions pas d'illusions sur l'effet de nos conseils. La règle est, hélas, sans exception : Qui met en garde un ami contre la femme qu'il aime perd l'ami sans nuire à la femme. Victor accueillit nos objections avec fureur et il écarta successivement de sa vie Bertrand Schmitt, moi-même, quelques autres. On commençait à parler, à Paris, dans les milieux parlementaires, de sa liaison et elle lui faisait le plus grand tort.

— Il ne reste, dis-je un soir à Bertrand, qu'un seul espoir... C'est que Jeanne ait prévu cet accident-là comme le précédent et qu'un jour arrive chez Bertaut un avertissement signé d'elle... Je crois qu'elle seule garde assez d'autorité sur Victor pour lui ouvrir les yeux.

— Je suis convaincu, dit Betrand, que l'avertissement viendra.

— Bertrand, vous souriez !... Vous savez quelque chose ?

— Je vous assure que non... Mais j'avais la plus haute estime pour les intuitions de Jeanne et il me paraîtrait naturel...

— Vous ne croyez tout de même pas qu'elle avait prévu jusqu'à cette Bergmann ?

— Non, bien sûr... Mais elle a pu, sans grand effort, deviner que Victor, demeurant seul et étant ce qu'il est, une femme d'un certain type, peu souhaitable, s'emparerait un jour de lui en flattant son orgueil. Elle a donc pu laisser une lettre destinée à lui être envoyé dans un cas comme celui-ci.

— La laisser à qui ?...

— A qui avait-elle confié la première ? A un ami capable, sans doute, de mesurer l'urgence de l'intervention et de lancer l'attaque au moment le plus opportun.

— O romancier ! lui dis-je. Que de romans vous construisez !

Les faits prouvèrent bientôt que le romancier avait vu juste. Nous ne sûmes pas tout de suite que Victor avait reçu une lettre de Jeanne. Mais nous le vîmes avec joie, un beau matin, partir brusquement pour sa circonscription. Il n'avait prévenu personne, laissé aucune explication. Il alla s'enterrer dans sa petite maison des champs*, près de Montélimar*. Dora Bergmann l'y poursuivit ; il refusa de la voir. Elle s'obstina, tempêta, échoua, renonça. Les journaux annoncèrent qu'elle allait faire un nouveau voyage dans le Rio del Oro *. Victor était sauvé. Quand il revint à Paris, j'allai sonner à sa porte. Il me reçut bien.

— Oui, me dit-il en riant, oui, imbécile, tu avais raison, une fois par hasard...

— Et comment sais-tu maintenant que j'avais

raison alors qu'il y a trois mois, tu m'as injurié quand j'ai voulu te crier casse-cou * ?

Ce fut alors qu'il me raconta l'histoire de la seconde lettre d'outre-tombe. Il l'avait trouvée un matin dans son courrier. Jeanne lui conseillait, si quelque imprudente aventure amoureuse le mettait en réel danger, de s'éloigner le jour même où il recevrait cet avis. « Je te connais, mon chéri », disait-elle... « Si tu restes, si tu revois cette femme, le point d'honneur jouera, et le désir, et l'orgueil. A distance, ton intelligence qui, elle, est infaillible, reprendra le dessus. Soudain tu verras en pleine lumière ce qui, de trop près, t'échappait... Donc, n'hésite pas, ne réfléchis pas. Replie à l'instant cette lettre, mets-la dans ta poche, fais ta valise, prends le volant avant une heure, sans voir personne, et pars pour la Drôme... » Il avait obéi.

— J'avais en la sagesse de ma femme tant de confiance ! me dit-il.

J'aimai le ton de soumission de cet aveu.

— Sera-t-il ainsi, toute sa vie, protégé par cette morte ? pensai-je.

Toute sa vie ? Non. Mais deux ans plus tard, au moment où il hésitait à se remarier, Bertaut reçut une troisième lettre qui approuvait ce projet et détermina la décision. Jeanne en avait-elle laissé d'autres ? Ou la première femme avait-elle, dans cette curieuse préfiguration de la vie de son mari, abdiqué par

avance devant la seconde ? Nous ne le saurons jamais.

Bertrand Schmitt raconte qu'en 1936, quand Bertaut, ministre, se trouva en présence d'un cas de conscience douloureux, il attendit avec espoir un conseil de son ange gardien. Bertrand le trouva, cet athée, comme en prière devant un portrait de Jeanne. Cette fois le message d'outre-tombe ne vint pas. Bertaut prit sa décision seul et se trompa. Ce fut la fin de sa vie politique.

Mais dans sa retraite campagnarde, gouvernant son petit domaine de famille avec sa seconde femme qui lui donne chaque année un enfant, il ne semble pas malheureux. Et c'est peut-être en somme ce bonheur-là qu'avait souhaité pour lui sa conseillère posthume.



FRAGMENTS D'UNE HISTOIRE UNIVERSELLE, PUBLIÉE PAR L'UNIVERSITÉ DE TOMBOUCTOU*, EN 1992.

Chapitre CXVIII

1954.— Incidents terrestres graves.
1959.— Publication uranienne de la *Vie des Hommes.*
1982.— Première édition terrestre.

Dès que, vers la fin de 1970, des relations amicales eurent été établies entre la Terre et la plupart des grandes planètes, les savants terriens souhaitèrent comparer leurs hypothèses et leurs doctrines avec celles de leurs confrères des autres mondes. Cette comparaison fut souvent difficile parce que, comme on le sait, les éminents physiciens de Vénus, de Jupiter et de Mars ne sont sensibles ni à la lumière, ni au son, et vivent dans un monde

de radiations que nous avions jusqu'alors ignorées. Mais la theorie des équivalents sensoriels fit de rapides progrès et aujourd'hui, en 1992, on peut dire que nous sommes capables de transposer en langage terrestre toutes les langues du système solaire, sauf pourtant le Saturnien.

Une des découvertes les plus intéressantes de notre époque a été celle des ouvrages écrits sur nous, habitants de la Terre, par les savants des planètes étrangères. Les hommes étaient loin d'imaginer que, depuis des millions d'années, ils étaient observés, à l'aide d'instruments beaucoup plus puissants que les leurs, par les naturalistes de Mars, de Vénus, et même d'Uranus. La science terrestre était fort en retard sur celle des astres voisins et nos organes n'étant pas sensibles aux radiations utilisées par les observateurs, nous ne pouvions savoir que, dans les moments les plus secrets de notre vie, nous nous trouvions parfois dans le champ d'un ultra-microscope céleste.

Tout érudit peut maintenant consulter ces travaux à la Bibliothèque de la Société des Planètes, et c'est une lecture qu'il faut conseiller aux jeunes hommes qui désirent se consacrer aux sciences, d'abord pour son intérêt propre qui est grand, mais aussi à cause des sentiments d'humilité qu'elle ne peut manquer d'éveiller. Quand on constate les incroyables erreurs d'interprétation commises par des êtres si intelligents et si merveilleusement armés pour la

recherche, on ne peut s'empêcher de faire un retour sur certaines de nos interprétations humaines et de se demander si nous n'avons pas observé les animaux et les plantes comme nous observaient les Martiens.

Un cas surtout nous a paru digne d'être étudié avec grand soin, c'est celui de ce savant Uranien, A. E. 17, qui, en 1959, publia *La Vie des Hommes*[1]. Son livre, jusqu'à la guerre, faisait autorité aussi bien sur Uranus que chez les Vénutiens et les Martiens qui l'avaient traduit. Il nous est facilement accessible puisque les Uraniens sont les seuls, parmi nos complanétaires, à être comme nous doués du sens de la vie, ce qui rend leur vocabulaire très proche du nôtre. En outre les expériences faites étaient d'une nature telle qu'elles ont bouleversé la Terre pendant six mois de sorte que nous en pouvons retrouver le récit terrestre dans les journaux et dans les Mémoires du temps.

On se propose ici : 1° de décrire brièvement quelques-uns des faits constatés sur notre planète en 1954 ; 2° de montrer comment l'illustre A. E. 17 avait interprété ses expériences.

Le Printemps mystérieux. — Dès le mois de mars 1954, dans tout l'hémisphère boréal, beaucoup

[1] 1959 est la date de l'édition originale uranienne; première édition terrestre : 1982.

d'observateurs signalèrent que l'état de l'atmosphère était surprenant. Bien que le temps fût beau et frais, des orages d'une grande violence éclataient brusquement dans des zones très limitées. Des capitaines de navires, des pilotes d'avions, écrivaient à l'Office Central de Météorologie que leurs boussoles avaient été affolées pendant quelques secondes sans aucune raison concevable. En plusieurs endroits on vit passer sur le sol, par ciel pur, comme l'ombre d'un énorme nuage, alors que le nuage demeurait invisible. Les journaux publièrent des interviews de savants météorologues ; ceux-ci expliquaient que le phénomène avait été prévu par eux, était dû aux taches du soleil et cesserait avec les marées d'équinoxe*. Mais l'équinoxe vint et amena des événements plus étranges encore.

Incidents dits de la Colline de Hyde-Park.* — Le troisième dimanche d'avril 1954, alors que des auditeurs, hommes et femmes, se pressaient dans l'allée qui conduit à la Marble Arch* autour des prédicateurs en plein vent*, ils virent soudain passer sur eux l'ombre d'un obstacle invisible mystérieusement interposé entre la Terre et le Soleil. Quelques instants plus tard, depuis la grille jusqu'à trois ou quatre cents yards à l'intérieur du Parc, le sol fut brusquement soulevé, les arbres déracinés, les promeneurs renversés, ensevelis, et ceux qui se trou-

vaient au bord de la zone bouleversée virent avec stupéfaction que s'était creusé un entonnoir, profond d'au moins cent yards, dont la terre avait été rejetée au-delà du trou pour former une colline de même hauteur.

« Tout s'était passé », dit le lendemain un policeman * devant le Coroner *, « comme si un géant avait donné un coup de pelle dans le Parc : oui, cela avait vraiment l'air d'un coup de pelle, car l'un des bords de l'entonnoir était droit et lisse, tandis qu'au contraire le flanc de la colline était fait de terre éboulée d'où sortaient des têtes et des corps à demi coupés.

Plus de trois cents promeneurs avaient été enterrés vivants. Ceux qui n'avaient été recouverts que d'une mince couche de terre se dégagèrent avec de grands efforts. Quelques-uns, devenus subitement fous, dévalèrent la pente abrupte de la colline toute fraîche, en poussant des cris horribles. Au sommet de ce monticule on vit surgir un des prédicateurs de l'Armée du Salut *, le Capitaine R. W. Ward qui, avec une étonnante présence d'esprit, se mit à hurler, tout en secouant le sable dont ses cheveux et ses vêtements étaient pleins :

— Je vous le disais, mes frères ! Parce que vous avez sacrifié aux faux dieux, le Seigneur s'est irrité contre son peuple, et maintenant la main du Seigneur s'est appesantie sur vous...

Cet inexplicable événement ressemblait en effet si fort à certains châtiments divins, tels que

les décrit la Bible, que plusieurs sceptiques qui se trouvaient parmi les assistants se convertirent aussitôt et commencèrent une vie de pratiques religieuses qu'ils ont continuée depuis ce moment.

L'aventure permit d'apprécier les vertus du corps des policemen de Londres. Trois d'entre eux étaient parmi les victimes, mais une douzaine d'autres, accourus aussitôt, s'étaient employés avec beaucoup de courage au déblaiement. On téléphona immédiatement aux Horse Guards * et aux pompiers : le Surintendant de la Police *, Clarkwell, prit le commandement des forces de secours et, en moins de quatre heures, Hyde-Park avait repris son aspect normal. Malheureusement on comptait deux cents victimes.

Les savants donnèrent de l'accident les explications les plus diverses. L'hypothèse d'un tremblement de terre, seule raisonnable si l'on ne voulait faire appel au surnaturel, ne paraissait guère vraisemblable ; les sismographes n'avaient enregistré aucune onde. Le public fut assez satisfait d'apprendre qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, mais d'une nature toute particulière, auquel les sismologues avaient donné le nom de « séisme vertical monoforme. »

La maison de l'Avenue Victor-Hugo *.— L'incident de Hyde-Park fut suivi d'un assez grand nombre d'épisodes de même nature.

Ceux-ci attirèrent beaucoup moins l'attention du public parce qu'ils n'entraînèrent pas mort d'homme mais, en différents points de notre planète, on vit se former avec la même rapidité ces étranges collines bordées d'un précipice aux parois nettement tranchées. En certains endroits de telles collines existent même encore ; je citerai en particulier celle de la plaine d'Ayen *, en Périgord, celle de Rosznov, en Valachie *, et celle d'Itapura au Brésil.

Mais la bêche mystérieuse qui semblait s'exercer ainsi sur des terrains nus, allait s'attaquer maintenant à des constructions humaines. Le 24 avril, vers midi, un bruit étrange, qui fut comparé par certains témoins à celui d'une lame sifflante, par d'autres à celui d'un jet de vapeur très mince et très puissant, étonna les passants dans le quartier de Paris qui est à peu près circonscrit par l'Arc-de-Triomphe *, l'Avenue de la Grande-Armée, l'Avenue Marceau et l'Avenue Henri-Martin.

Ceux qui se trouvaient en face de l'immeuble portant le numéro 66 de l'Avenue Victor-Hugo virent une énorme fissure oblique apparaître dans ce bâtiment ; celui-ci fut agité de deux ou trois secousses et soudain tout l'étage mansardé, où se trouvaient les chambres de domestiques, sembla s'effriter comme sous une pression puissante. Aux fenêtres, sur les balcons, apparurent des habitants affolés. Heureusement, bien que la maison fût à la lettre coupée en deux, elle

ne s'écroula pas. Les sauveteurs rencontrèrent vers le milieu de l'escalier la fissure produite par le passage de l'invisible outil. Il semblait très exactement qu'une lame eût traversé le bois des marches, les tapis, le fer de la rampe, en suivant un trajet rectiligne. Tout, sur son passage, meubles, tapis, tableaux, livres, était coupé en deux d'un trait net, très proprement. Par miracle, personne n'avait été blessé. Les chambres de domestiques s'étaient trouvées vides parce qu'il était l'heure du repas. Une jeune fille, couchée au troisième étage, avait vu son lit tranché obliquement ; le coup avait passé à côté d'elle. Elle n'avait éprouvé aucune douleur, mais elle avait senti un choc semblable à celui d'une faible pile électrique.

Là encore, les explications données furent multiples. Le mot de *séisme* fut à nouveau prononcé. Certains journaux accusèrent l'architecte et le propriétaire de la maison d'avoir construit celle-ci avec des matériaux médiocres. Un deputé communiste interpella. Le gouvernement promit de prendre des mesures pour éviter le retour de pareils accidents et demanda un ordre du jour de confiance, qui fut voté à mains levées.

Les Transportés.— Comme celui de la colline de Hyde-Park, l'accident de l'Avenue Victor-Hugo fut suivi de plusieurs autres presque semblables,

que nous ne raconterons pas mais qui, à des esprits observateurs, auraient dû, nous semble-t-il maintenant, faire reconnaître une volonté cachée et la poursuite d'un dessein défini. Dans de nombreux pays, des maisons, petites et grandes, furent sectionnées par une force invisible. Plusieurs cottages de paysans, un dans le Massachusetts*, un au Danemark, un en Espagne, soulevés en l'air, retombèrent sur le sol, broyés avec leurs occupants. A New York, un des buildings* de Madison Avenue fut coupé en deux. Une cinquantaine d'hommes et de femmes trouvèrent la mort dans ces incidents, mais comme ceux-ci se passaient dans des pays très différents, comme chaque cas isolé n'avait fait que quelques victimes, et comme d'ailleurs personne ne pouvait offrir une explication intelligible, on en parla aussi peu que possible.

Il n'en fut pas de même de la série d'aventures qui suivit et qui entretint toute la planète dans un état d'agitation extraordinaire pendant les mois de mai et de juin 1954. La première victime fut une jeune négresse de Hartford* (Connecticut).

Elle sortait de la maison de ses maîtres quand un facteur, seul témoin de l'accident, la vit soudain s'élever en l'air en poussant des cris affreux. Elle monta jusqu'à une hauteur de cent mètres, puis retomba et s'écrasa sur le sol. Le facteur affirma n'avoir aperçu au-dessus d'elle aucun engin aérien.

Le second « transporté » fut un douanier de Calais * qu'on vit, lui aussi, s'élever verticalement, puis s'éloigner à grande allure vers la côte anglaise. On le retrouva quelques minutes plus tard sur les falaises de Douvres *, mort, mais sans blessures apparentes. On eût dit qu'il avait été posé doucement sur le sol ; il était bleu comme un pendu.

Puis commença la période dite « des transports réussis ». Le premier des « transportés » qui arriva vivant au terme de son voyage fut un vieux mendiant, saisi par la main invisible au moment où il demandait l'aumône sur le parvis de Notre-Dame et déposé, dix minutes plus tard, au milieu de Piccadilly-Circus *, aux pieds d'un policeman stupéfait. Il n'avait pas souffert et avait l'impression d'avoir voyagé dans une cabine fermée, où la lumière et le vent ne pénétraient pas. Les témoins de son départ avaient remarqué qu'il était devenu invisible dès qu'il avait été soulevé au-dessus du sol.

Pendant plusieurs semaines, les « transports » continuèrent. Depuis qu'on les savait à peu près sans danger, on les trouvait assez comiques. La plus grande fantaisie semblait guider les choix de la main invisible. Une fois c'était une petite fille de Denver * (Colorado) qui se retrouvait dans une plaine russe ; un autre jour un dentiste de Saragosse * que l'on retrouvait à Stockholm. Le transport dont on parla le plus fut celui du vénérable Président du Sénat français M. Marc

Lefaut, qui, enlevé dans les jardins du Luxembourg*, fut déposé au bord du Lac Ontario*. Il en profita pour faire un voyage au Canada, fut reçu à son retour en triomphe à la gare du Bois de Boulogne et il est probable que cette involontaire publicité contribua beaucoup à assurer son élection à la Présidence de la République, en 1956.

On remarqua que tous les transportés étaient, après le voyage, enduits d'un liquide rougeâtre qui maculait leurs vêtements ; on ne put découvrir pourquoi. C'était le seul inconvénient de ces aventures, d'ailleurs inoffensives. Elles cessèrent au bout de deux mois environ pour faire place à une nouvelle série, plus étrange encore, qui commenca par l'épisode dit « des deux ménages ».

Aventure des deux ménages.— Le premier des deux célèbres ménages était un couple de jeunes Français qui habitait, aux portes de Paris, une petite maison de Neuilly*. Le mari, Jacques Martin, était professeur au Lycée Pasteur, universitaire sportif, érudit et auteur d'une thèse remarquable sur la vie de Paul Morand*. Ils avaient quatre enfants. Le 3 juillet, vers minuit, Mme Jacques Martin venait de s'endormir quand elle entendit ce sifflement vaporeux que nous avons déjà décrit, éprouva une légère secousse et eut l'impression qu'elle s'élevait en

l'air avec une grande rapidité. Ouvrant les yeux, elle vit avec stupeur que la pâle clarté de la lune pénétrait dans la chambre dont tout un mur avait disparu, qu'elle se trouvait au bord d'un lit coupé en deux et qu'à sa gauche, là où quelques secondes auparavant se trouvait étendu son mari, était un précipice sans fond au-dessus duquel brillaient les étoiles. Terrifiée, elle se rejeta vers le côté encore solide du lit et fut étonnée (et en même temps rassurée) de constater que celui-ci ne basculait pas, bien qu'il ne possédât plus que deux pieds, Mme Martin sentit qu'elle ne montait plus, mais se déplaçait très vite en ligne droite ; puis, à une sorte de choc au cœur, semblable à celui que l'on éprouve dans les ascenseurs trop rapides, elle devina qu'elle descendait. Elle imagina que sa chute allait se terminer par un écrasement et déjà elle avait fermé les yeux dans l'attente de l'atterrissage fatal. Mais la reprise de contact avec le sol se fit avec une élastique douceur et quand Mme Martin regarda autour d'elle, elle ne vit plus rien. La chambre était noire. Voici la suite de son récit :

« L'abîme semblait s'être refermé. J'appelai mon mari. Je pensais que je venais d'avoir un cauchemar ; j'en étais encore bouleversée ; je voulus le lui raconter. J'allongeai la main ; je rencontrai un bras d'homme et j'entendis une voix inconnue et forte qui disait en anglais :

« — Oh ! *darling**, comme vous m'avez effrayé...

« Je fis un bond en arrière et voulus allumer, mais je ne pouvais trouver la poire électrique*.

« — Qu'est-ce que vous avez ? dit l'inconnu.

« Il alluma lui-même. Nous poussâmes tous les deux, en même temps, un cri. J'avais devant moi un jeune Anglais blond, au petit nez court, un peu myope et à moitié endormi encore dans son pyjama bleu. Au milieu du lit était une fente ; les draps, le matelas, le traversin étaient coupés en deux. Il y avait une différence de niveau de cinq à dix centimètres entre les deux parties du lit.

« Dès qu'il eut repris ses esprits, l'attitude, en ces difficiles circonstances, de mon compagnon de lit improvisé me donna beaucoup d'estime pour la race britannique. Après un très court moment, bien excusable, d'ahurissement, il fut aussi correct, aussi naturel, que si nous avions été dans un salon. Je parlais sa langue et lui appris mon nom ; il me dit le sien : « John Graham. » L'endroit où nous nous trouvions était Richmond*. En regardant autour de moi, je vis que toute une moitié de ma chambre m'avait suivie. Je reconnaissais ma fenêtre, mes rideaux cerise, la grande photographie de mon mari sur la commode, la petite table chargée de livres à côté de mon lit, ma montre au sommet de la pile de livres. L'autre moitié, la sienne, m'était inconnue. Sur la table de chevet était le portrait d'une très jolie femme, des photographies

d'enfants, des magazines, et une boîte de cigarettes. John Graham me regarda longuement, examina le décor au milieu duquel je lui apparaissais et me dit enfin, avec un grand sérieux :

« — Qu'est-ce que vous faites ici, Mrs. Martin ?

« Je lui expliquai que je n'en savais rien, et étendant le bras vers le grand portrait, je lui dis :

« — *This is my husband.**

« Etendant à son tour une main :

« — *This is my wife**, dit-il.

« Elle était ravissante et la pensée inquiétante me vint qu'elle était peut-être en ce moment dans les bras de Jacques.

« — Croyez-vous, lui dis-je, que la moitié de votre maison ait été transportée en France en même temps que la moitié de la mienne venait ici ?

« — Pourquoi ? dit-il.

« Il m'irritait. Pourquoi ? Je n'en savais rien... Parce qu'il y avait, dans cette histoire, une sorte de symétrie naturelle.

« — C'est une étrange affaire, dit-il en secouant la tête... Et comment est-ce possible ?

« — Ce n'est pas possible, dis-je ; cela est...

« A ce moment, on entendit des gémissements qui semblaient venir de l'étage au-dessus et nous eûmes la même pensée :

« — Les enfants ?

« John Graham bondit hors du lit, courut pieds nus vers une porte, et l'ouvrit. J'entendis

des cris, des bruits de toux, puis la forte voix de l'Anglais qui mêlait les consolations aux jurons. Je me hâtai de me lever ; je me regardai dans la glace. J'avais mon visage habituel. J'arrangeai un peu mes cheveux. Puis je constatai que ma chemise de nuit était très décolletée et je cherchai des yeux mon kimono, mais je me souvins que je l'avais accroché dans la moitié de la chambre qui ne m'avait pas suivie. Comme j'étais devant la glace, j'entendis derrière moi une voix désolée :

« — Venez m'aider ! dit John Graham d'un ton suppliant.

« Dans la nursery, les cris redoublaient, mêlés de pleurs et d'appels.

« — Volontiers... Mais avez-vous une robe de chambre de votre femme ?... Des pantoufles ?

« — Oui, naturellement.

« Il me donna sa propre robe de chambre et me montra le chemin de la nursery. Les enfants étaient superbes, mais avaient la coqueluche. C'était surtout le plus jeune, un beau bébé blond, charmant, qui paraissait souffrir. Je lui pris la main et il accepta ma présence.

« Nous passâmes ainsi deux heures dans cette chambre, tous deux dans un état d'inquiétude mortelle, pensant, lui à sa femme et moi à mon mari.

« Je lui demandai si on ne pourrait téléphoner à la police ; il essaya et constata que son téléphone avait été coupé ; coupée en deux aussi

son antenne de sans-fil*. Dès que l'aube parut, John Graham sortit. Les enfants s'étaient endormis. Quelques minutes plus tard, il revint me chercher en me disant de redescendre avec lui, car vraiment la façade était digne d'être vue. Elle l'était. L'auteur inconnu de ce miracle avait évidemment voulu choisir deux maisons de même hauteur, divisées à peu près de la même façon, et il y avait réussi, mais notre maison de Neuilly était un pavillon de briques, très simple, aux hautes fenêtres entourées d'un bandeau de pierre, la maison anglaise un petit cottage noir et blanc, avec de larges *bow-windows**. La juxtaposition de ces deux moitiés si différentes formait l'ensemble le plus étrange. On eût dit un Arlequin de Picasso*.

« Je pressai Mr. Graham de s'habiller et d'aller télégraphier en France, pour savoir ce qu'était devenue sa femme. Il me dit que le télégraphe n'ouvrait qu'à huit heures. C'était un être flegmatique et qui ne semblait pas concevoir que, dans des circonstances aussi particulières, on pût enfreindre les règlements et réveiller le télégraphiste. J'eus beau le secouer avec énergie ; je n'en tirai rien d'autre que :

« — *It only opens at eight !**

« Enfin vers sept heures et demie, au moment où il allait sortir, nous vîmes arriver un policeman à cheval. Il regarda la maison avec étonnement ; il était porteur d'un télégramme du Préfet de Police de Paris, demandant si j'étais là

et annonçant que Mrs. John Graham était saine et sauve, à Neuilly.»

Il est inutile de continuer à citer *in extenso* ce texte classique. Il suffit de savoir que Mrs. Graham avait soigné les enfants de Mme Jacques Martin aussi bien que celle-ci les petits Anglais, que les deux couples se déclarèrent enchantés de la bonne grâce de leurs compagnons d'aventure et que, jusqu'à leur mort, les deux ménages restèrent toujours étroitement liés. Mme Martin vivait encore, il y a dix ans, à Chambourcy (Seine-et-Oise), dans la maison de famille.

Les dimensions accordées à ce chapitre dans le plan général du présent volume, ne nous permettent pas de raconter les aventures analogues qui étonnèrent les hommes pendant tout ce mois d'août 1954.

La série des « maisons coupées » est plus longue encore que celle des « transportés ». Plus de cent couples furent ainsi échangés et ces échanges devinrent les thèmes favoris des romanciers et des cinéastes. Ils contenaient un élément sensuel et fantastique qui plaisait beaucoup au public. Il était d'ailleurs divertissant de voir (comme cela arriva réellement) une reine se réveiller dans le lit d'un gendarme, et une danseuse russe dans celui du Président des Etats-Unis. Puis la série s'arrêta net et fit place à une autre. Il semblait que les êtres mystérieux qui s'amusaient à troubler la vie des hommes fussent capricieux et vite las de leurs jeux.

La mise en cage.— Au début de septembre, la main dont toute la terre connaissait maintenant la puissance, s'abattit sur quelques-uns des meilleurs esprits du globe. Une douzaine d'hommes, presque tous physiciens ou chimistes et de grande valeur, furent au même instant prélevés sur l'ensemble des pays civilisés et transportés dans une clairière de la forêt de Fontainebleau *.

Un groupe de jeunes gens qui avaient continué de venir le dimanche dans la forêt pour en escalader les rochers, aperçurent des vieillards errant tristement parmi les arbres et les pierres. Les voyant embarrassés, ils voulurent s'approcher pour leur porter secours et furent surpris de se trouver tout d'un coup arrêtés par une résistance transparente, mais infranchissable. Ils essayèrent de contourner l'obstacle, mais, après avoir fait le tour du cirque, reconnurent que celui-ci était entouré d'un rempart invisible. Plusieurs de ces jeunes gens connaissaient l'un des savants qui était leur maître et l'appelèrent ; il ne parut pas les entendre. Les sons ne traversaient pas cette barrière. Les illustres personnages étaient là comme des fauves en cage.

Ils parurent assez vite en prendre leur parti ; on les vit s'étendre au soleil, tirer des morceaux de papier de leurs poches, griffonner des équations et discuter assez gaiement. Un des jeunes spectateurs était allé prévenir les autorités et, vers midi, arrivèrent de nombreux

curieux. Les savants paraissaient maintenant inquiets, se traînaient assez péniblement (car ils étaient tous de grand âge) jusqu'au bord du cirque et, voyant que leurs voix n'atteignaient personne, faisaient signe qu'on leur donnât à manger.

Il y avait là quelques officiers. L'un d'eux offrit de ravitailler ces malheureux par avion et l'idée parut excellente. Deux heures plus tard, on entendit le ronflement d'un moteur et, avec beaucoup d'adresse, l'aviateur, passant au-dessus du cirque laissa tomber, très exactement au milieu de celui-ci, des paquets de vivres. Malheureusement, à vingt mètres au-dessus du sol, on vit ceux-ci s'arrêter, rebondir, et enfin rester suspendus en l'air. La cage avait un toit, formé des mêmes radiations invisibles.

Vers le soir, les vieillards devinrent désespérés. Ils indiquèrent par signes qu'ils souffraient de la faim et qu'ils craignaient le froid de la nuit. Les spectateurs, désolés, ne pouvaient rien pour eux. Allait-on voir périr un si remarquable groupe de grands esprits ?

Le lendemain matin, au petit jour, on crut d'abord que la situation n'avait pas changé, mais en regardant mieux on vit que tout un décor nouveau était apparu au centre de la cage. Une mise en scène avait été organisée par la main invisible. Les paquets lancés par l'aviateur pendaient maintenant à l'extrémité d'un câble, à

cinq mètres environ au-dessus de la terre ; à peu de distance de ce câble en était un autre qui, lui, allait jusqu'au sol. Pour tout homme jeune il eût été facile, en se balançant, d'aller atteindre les paquets qui représentaient le salut. Malheureusement il y avait peu d'espoir qu'aucun des vénérables savants, tous au moins septuagénaires, pût se livrer à cette difficile gymnastique. On les vit tourner autour des câbles, mesurer leur solidité, mais aucun d'entre eux ne tenta l'aventure.

Toute une journée s'écoula ainsi. La nuit vint. Peu à peu les curieux se dispersèrent. Vers minuit, un jeune étudiant eut l'idée de vérifier si la barrière de radiations était toujours là. A sa grande surprise, il ne rencontra rien, continua à marcher et poussa un cri de triomphe. Les cruelles puissances qui s'étaient jouées des hommes, pendant deux jours, consentaient à faire grâce à leurs victimes. Les savants furent ravitaillés, réchauffés, et aucun d'eux ne succomba.

Tels sont les faits principaux qui ont marque sur la terre cette période, alors inexplicable, et qui, nous le savons aujourd'hui, correspondait à une période d'expérimentation uranienne. Nous allons maintenant donner quelques fragments, les plus importants à notre avis, du livre de l'illustre A. E. 17.

Le lecteur comprendra que nous avons été obligés de trouver, pour les mots uraniens, des équivalents terrestres, qui ne les traduisent pas littéralement. Le temps uranien se compose d'années beaucoup plus longues que les nôtres. Nous avons, partout où cela était possible, transposé en temps terrestre. En outre, les Uraniens emploient, pour nous désigner, un mot qui signifie à peu près : *bipèdes aptères*, mais qui est inutilement compliqué, et que nous avons remplacé presque partout par *hommes* ou *terriens*. De même nous avons traduit le mot bizarre par lequel ils désignaient nos villes par celui d'*hommilières**, qui suggère assez bien, nous semble-t-il, des associations d'idées analogues. Enfin il ne faut pas que le lecteur oublie que l'Uranien, doué comme nous de la vue, ignore les sons. Les Uraniens communiquent entre eux grâce à un organe spécial, composé d'une série de petites lampes de couleur qui s'allument et s'éteignent alternativement. Ne voyant pas les hommes pourvus de cet organe et ne pouvant s'imaginer ce qu'est la parole, il est naturel que l'Uranien nous ait cru incapable de communiquer des idées.

Nous ne pouvons donner ici que quelques courts fragments du livre de A. E. 17, mais nous conseillons vivement à l'étudiant de lire le livre tout entier. Il en existe une excellente édition scolaire, publiée, avec notes et appendice, par le Professeur Ah Tchou, de Pékin.

A. E. 17 n'est pas — nous pensons que le lecteur l'a compris — le nom uranien de l'auteur, mais l'indice qui désigne celui-ci dans la nomenclature du Professeur Ah Tchou.

LA VIE DES HOMMES

par A. E. 17

Quand on examine, à l'aide d'un télescope ordinaire, la surface des petites planètes et en particulier celle de la Terre, on y aperçoit de larges taches, beaucoup plus bigarrées que celles formées par un lac ou par une mer. Si on observe ces taches pendant un temps assez long, on voit qu'elles grandissent pendant quelques siècles terrestres, passent par un état maximum, puis décroissent et même quelquefois disparaissent. Beaucoup d'observateurs ont cru qu'il s'agissait là d'une maladie du sol. Rien ne ressemble plus en effet au développement et à la résorption d'une tumeur dans un organisme. Mais, dès l'invention de l'ultra-télé-microscope, on a reconnu qu'on se trouvait en présence d'amas de matières vivantes. Les premiers appareils, étant imparfaits, ne permettaient d'apercevoir qu'un grouillement confus, une sorte de gelée vivante, et de très bons observateurs, comme H. 33, soutenaient alors que ces colonies terrestres étaient faites d'animaux soudés les uns aux autres et vivant d'une vie

commune. Avec les appareils actuels, on voit aussitôt qu'il n'en est rien. On distingue facilement les individus les uns des autres et même on peut suivre leurs mouvements. Les taches observées par H. 33 sont en réalité d'immenses nids qu'on peut presque comparer aux villes uraniennes, et que nous appelons des *hommilières*.

Les minuscules animaux qui peuplent ces villes, les hommes, sont des bipèdes aptères, mammifères, pourvus d'un système pileux médiocre et généralement couverts d'un épiderme artificiel. On a longtemps supposé qu'ils secrétaient eux-mêmes cette peau supplémentaire. Mes études me permettent d'affirmer qu'il n'en est rien, mais qu'un instinct les pousse à recueillir certaines fibres animales ou végétales, qu'ils assemblent pour s'en former une protection contre le froid.

Je dis: *un instinct*, et je tiens à indiquer, dès le début de cet ouvrage, avec netteté, mon sentiment sur une question qui n'aurait jamais dû être posée, et qui a été traitée, depuis quelques années surtout, avec une incroyable légèreté. L'étrange mode s'est établie, parmi nos jeunes naturalistes, d'attribuer à ces moisissures terrestres une intelligence de même nature que celle de l'Uranien. Laissons à d'autres le soin d'insister sur ce qu'une telle doctrine a de choquant au point de vue religieux. Je montrerai dans ce livre combien elle est absurde au seul point de vue scientifique. Sans doute quand, pour la première

fois, on contemple une de ces gouttelettes de gelée sous le microscope et que soudain on voit se dérouler mille scènes animées et intéressantes : longues rues où les hommes se croisent, parfois s'arrêtent et semblent se comprendre ; petit nid individuel où un couple veille sur une nichée de petits ; armées en marche ; constructeurs au travail ; la beauté du spectacle est telle que l'enthousiasme est excusable. Mais, pour étudier avec fruit les facultés psychiques de ces bêtes, il ne suffit pas de profiter des circonstances que le hasard procure à l'observateur. Il faut savoir en faire naître de plus favorables, les faire varier autant que possible ; il faut, en un mot, expérimenter et ainsi construire la science sur la base solide de faits.

C'est ce que nous avons essayé de faire au cours de la longue série d'expériences qui est ici rapportée. Avant d'en commencer le récit, je demande au lecteur d'imaginer et de mesurer les immenses difficultés que devait rencontrer un tel dessein. Sans doute l'expérimentation à distance est devenue relativement facile, depuis que nous avons à notre disposition les Rayons W, qui permettent de saisir, de manier et même de transporter des corps à travers les espaces interstellaires. Mais quand il s'agit d'êtres aussi petits, aussi fragiles que les hommes, les Rayons W sont des instruments bien grossiers et bien brutaux. Dans les premiers essais, il nous est arrivé trop souvent de tuer les bestioles que nous

souhaitions observer. Il a fallu des appareils émetteurs d'une précision extraordinaire pour permettre d'atteindre exactement le point visé et de traiter la matière sensible avec la délicatesse nécessaire. En particulier, quand nous avons commencé à transporter des hommes d'un point à un autre de la surface terrestre, nous avions négligé de tenir compte de la résistance de ces bêtes. Nous les faisions mouvoir trop rapidement à travers une mince couche d'air qui entoure la Terre, et elles mouraient asphyxiées. Il nous a fallu créer une véritable boîte de rayons à l'intérieur de laquelle la rapidité de déplacement ne produisait plus aucun effet nocif. De même, quand nous avons voulu pour la première fois couper en deux et déplacer des nids, nous n'avons pas tenu suffisamment compte des procédés de construction employés par les terriens. Nous avons appris, par l'expérience, à étayer les nids après division, en y faisant passer certains courants massifs de rayons.

Le lecteur trouvera ici une carte sommaire de la partie de la surface terrestre sur laquelle ont porté nos principales expériences. En particulier, nous le prions de remarquer les deux grandes hommilières sur lesquelles nous avons fait nos premiers essais et auxquelles nous avons donné les noms, depuis adoptés par les astrosociologues *, d'*Hommilière Folle* et d'*Hommilière Rigide.*

Ces noms ont été choisis par nous à cause des aspects si différents de ces deux hommilières, dont l'une frappe aussitôt l'observateur par la régularité de son plan, tandis que l'autre est un lacis compliqué de chemins assez tortueux. Entre l'*Hommilière Folle* et l'*Hommilière Rigide* s'étend une ligne brillante que l'on suppose être une mer. La plus grande hommilière du monde est l'*Hommilière Géométrique*, plus régulière encore que l'*Hommilière Rigide*, mais éloignée des deux précédentes et séparée d'elles par une surface brillante plus large.

Premiers essais.— En quel point de la Terre convenait-il de diriger nos premiers efforts ? Comment fallait-il intervenir dans l'existence de ces animaux pour obtenir d'eux des réactions révélatrices ? J'avoue que mon émotion fut grande quand, pour la première fois, armé d'un appareil de portée suffisante, je me préparai à opérer sur la Terre.

J'étais entouré de quatre de mes jeunes élèves, très émus eux aussi et, l'un après l'autre, nous avions regardé dans l'ultra-télémicroscope, les charmants et minuscules paysages. Nous avions braqué l'appareil sur l'*Hommilière Folle* et nous avions cherché un endroit assez découvert afin de voir plus facilement ce qui suivrait notre action. De tout petits arbres brillaient au soleil du printemps et l'on voyait des mul-

titudes d'insectes immobiles, formant des cercles irréguliers au milieu desquels se tenait un insecte isolé. Nous cherchâmes pendant un instant à nous expliquer ce jeu, puis, n'y parvenant pas, nous décidâmes d'essayer une application de rayons. L'effet fut foudroyant. Un premier trou se forma dans la terre ; quelques insectes furent enfouis sous les décombres ; immédiatement une étonnante activité se déchaîna. On eût vraiment dit que ces animaux s'organisaient avec intelligence. Les uns sauvaient leurs compagnons enfouis, les autres allaient chercher du secours. Assez vite le dommage fait par nous fut réparé. Nous essayâmes alors d'appliquer nos rayons, en choisissant autant que possible, des points non habités, afin de ne pas mettre en danger nos sujets dès le début de nos études. Nous apprîmes à réduire la force de nos rayons et à opérer avec plus d'adresse. Enfin, sûrs désormais de nos moyens d'action, nous décidâmes de commencer la première série de nos expériences.

Mon dessein était de prendre des individus dans une hommilière, de les marquer d'un trait de pinceau, de les transporter en un autre point et de vérifier si l'individu transporté retrouvait le chemin de l'hommilière primitive. Au début, comme je l'ai dit, nous rencontrâmes de grandes difficultés, d'abord parce que l'animal mourait pendant le transport, ensuite parce que nous avions négligé de tenir compte de cet épiderme

artificiel que se fabriquent les Terrestres. Comme ils s'en dépouillent facilement, nous les perdions de vue dès que nous les avions déposés à terre au milieu d'une hommilière. Pour les transports suivants, nous essayâmes de les marquer directement sur le corps en arrachant la peau supplémentaire, mais alors, aussitôt arrivé dans l'hommilière, l'animal se fabriquait une peau nouvelle.

Avec un peu d'habitude, mes élèves arrivèrent enfin à suivre un animal à l'ultra-microscope et a ne plus le perdre de vue. Ils reconnurent que, dans quatre-vingt-dix-neuf cas sur cent, l'homme revient à son point de départ. J'essayai de transporter deux mâles de l'Hommilière Folle dans une hommilière extrêmement éloignée, celle que nous appelons l'Hommilière Géométrique. Après dix jours terrestres, mon très cher disciple E. X. 33, qui les avait suivis nuit et jour avec un dévouement incomparable, me les montra rentrant dans l'Hommilière Folle. Ils étaient revenus malgré l'inconnu des lieux où je les avais transportés. Or (nous les avions longuement observés), c'étaient deux individus de mœurs casanières qui, évidemment, voyaient pour la première fois le pays où nous les avions transportés. Comment avaient-ils retrouvé leur chemin ? Le trajet avait été pour eux si rapide qu'ils n'avaient pu l'observer. Quel est leur guide ? Ce n'est certes pas la mémoire, mais une faculté spéciale qu'il faut se borner à constater

par ses étonnants effets, sans prétendre à l'expliquer, tant elle est en dehors de notre propre psychologie.

Ces transports posaient un autre problème. L'individu au moment de son retour serait-il reconnu par les autres ? Il semble qu'il le soit. On voit en général une grande excitation dans le nid au moment du retour de l'absent. Les autres mettent leurs bras autour de lui et quelquefois même posent leurs lèvres sur les siennes. Dans certains cas cependant, le sentiment manifesté parut être la fureur ou le mécontentement.

Ces premières expériences prouvaient qu'un instinct permet aux bipèdes aptères de reconnaître leurs hommilières. La seconde question que nous nous posâmes fut de savoir s'il pouvait exister entre ces êtres des sentiments semblables à ceux des Uraniens et si, par exemple, l'amour, soit conjugal, soit maternel, existe sur la Terre. Une telle supposition, attribuant aux Terriens les sentiments si raffinés auxquels l'Uranien n'est arrivé que par des millions d'années de civilisation, me paraissait absurde. Mais le devoir de l'expérimentateur est d'aborder son sujet avec un esprit libre et de faire toutes les expériences sans préjuger du résultat.

La nuit, le mâle terrien repose généralement près de sa femelle. Je demandai à mes élèves de me couper en deux des nids, afin de séparer le mâle de sa femelle sans les blesser ni l'un ni l'autre, puis de recoller une moitié A avec une

moitié B et de voir si les petits animaux s'apercevraient de ce changement. Pour que l'expérience soit faite dans des conditions normales, il est indispensable que les nids choisis se ressemblent. C'est pourquoi je recommandai à mes expérimentateurs de choisir deux nids contenant des portées de petits de même nombre et des cellules de même grandeur. E. X. 33 me montra triomphalement, dans l'Hommilière Folle, et dans l'Hommilière Rigide, deux nids presque semblables contenant chacun un couple et quatre petits. La coupure des maisons, leur transport, furent pratiqués par E. X. 33 avec une adresse admirable. Les résultats furent concluants. Dans les deux cas, les couples artificiellement formés par nous manifestèrent, au moment du réveil, une très légère surprise que le mouvement et le choc suffisent à expliquer. Puis, dans les deux cas, ils restèrent en présence sans fuir, et dans les attitudes qui semblaient normales. Fait presque incroyable : dès la première heure, les deux femelles donnèrent leurs soins à la nichée étrangère, sans montrer horreur ni dégoût. Elles étaient évidemment incapables de reconnaître qu'il ne s'agissait pas de *leurs* petits.

L'expérience fut répétée par nous un grand nombre de fois. Dans quatre-vingt-treize cas sur cent, des soins sont donnés au nid et aux jeunes par les deux couples. La femelle de l'homme garde l'impression tenace des fonctions qu'elle

doit remplir, sans avoir l'idée des individus envers lesquels elle a ce devoir. Que les enfants lui appartiennent ou non, elle travaille avec une ferveur pareille. On pourrait croire que cette confusion a pour cause une étroite ressemblance entre les deux nids, mais, progressivement, nous avons pris des nids d'aspect différent, joignant par exemple la moitié d'un nid misérable avec la moitié d'un nid riche d'une autre espèce. Les résultats sont à peu près les mêmes : l'homme ne fait pas de différence entre sa cellule et une autre.

Ayant ainsi démontré qu'en ce qui concerne les sentiments le Terrien est un animal placé très bas dans l'échelle des êtres, nous avons cherché à mesurer ses facultés intellectuelles. Pour y arriver, nous avions décidé d'isoler quelques individus dans une cage de rayons et de mettre à leur disposition de la nourriture qu'ils ne pourraient atteindre qu'au prix d'actions de plus en plus compliquées. J'avais mis quelque coquetterie à choisir, pour cette expérience, des Terriens chez lesquels mon collègue X. 38 prétendait avoir découvert des signes d'intelligence scientifique. On trouvera dans l'Appendice B les détails de cette expérience. Elle a montré, sans laisser place au doute, que le temps dans lequel vit l'homme est extrêmement limité dans le passé et dans l'avenir, qu'il oublie immédiatement et qu'il est incapable d'imaginer les méthodes les plus simples dès qu'on lui pose des problèmes

un peu différents de ceux qu'il a pris l'habitude héréditaire de résoudre.

Après une longue période d'expérimentation sur des individus terriens, nous étions devenus, mes élèves et moi, assez familiers avec les mouvements de ces animaux pour pouvoir les observer dans le cours de leur vie ordinaire sans intervenir nous-mêmes. Rien n'est plus intéressant que de suivre comme je l'ai fait, pendant quelques années terrestres, l'histoire d'une hommilière.

L'origine des sociétés humaines est inconnue. Pourquoi et comment ces animaux ont-ils renoncé à leur liberté pour devenir les esclaves de l'hommilière ? Nous ne le savons pas. On peut dire qu'ils ont trouvé dans ces groupements un appui pour lutter contre d'autres animaux et contre les forces naturelles, mais c'est un appui qu'ils paient bien cher. Aucune espèce animale n'ignore autant que celle-ci les loisirs et la joie de vivre. Dans les grandes hommilières et en particulier dans l'Hommilière Géométrique, l'activité commence à l'aube et se prolonge pendant une partie de la nuit. Encore si cette activité était nécessaire, comprendrait-on, mais l'homme est un animal si borné, tellement dominé par ses instincts, qu'il produit et peine bien au-delà de ses besoins. Dix fois j'ai vu, dans les magasins de réserve de l'hommilière, s'accumuler des objets en tel nombre que les hommes en semblaient embarrassés ; cependant, à très peu de distance

de là, un autre groupe continuait à fabriquer ces mêmes objets.

On comprend mal aussi la division de l'humanité en castes. Il est certain que, parmi ces animaux, les uns travaillent la terre et produisent presque toute la nourriture ; d'autres fabriquent les épidermes supplémentaires ou construisent des nids ; d'autres enfin ne semblent rien faire que de se mouvoir rapidement à la surface de la planète, de manger et de s'accoupler. Pourquoi les deux premières castes acceptent-elles de nourrir et de vêtir la troisième ? Cela demeure obscur pour moi. E. X. 33 a fait un remarquable travail pour essayer de prouver que cette tolérance est d'origine sexuelle ; il a montré que, le soir, quand les individus de la caste supérieure s'assemblent, des travailleurs viennent à l'entrée de ces fêtes, voir les femelles à demi nues. Selon lui c'est un plaisir esthétique, procuré par ce spectacle, qui serait la récompense des castes sacrifiées. La théorie me semble ingénieuse, mais pas assez solidement établie pour que je puisse la considérer comme vraie.

Pour mon compte, je chercherais plutôt l'explication dans l'étonnante stupidité de l'homme. La grande folie est toujours de vouloir expliquer les actions des Terriens par des raisonnements uraniens. Erreur, profonde erreur. L'homme n'est pas guidé par une intelligence libre. L'homme obéit à une incitation fatale, inconsciente ; il n'a pas le choix de ce qu'il doit faire ; il

glisse en quelque sorte, suivant une pente irrésistible déterminée d'avance, pour l'amener au but. Je me suis diverti à suivre l'existence individuelle de certains hommes, pour lesquels les fonctions de l'amour semblent être l'essentiel de la vie. Je les voyais, par la conquête d'une première femelle, attirer sur leur tête toutes les charges d'un nid ; non content de ce premier fardeau, mon mâle allait chercher une seconde compagne pour laquelle il installait un second nid ! Ces amours simultanées conduisaient le malheureux animal à mille luttes, dont j'étais spectateur. Peu lui importait ; ses malheurs successifs ne semblaient rien lui apprendre et il continuait à courir ses misérables petites aventures, sans paraître plus sage à la dixième qu'à la première.

Une des preuves les plus fortes de cette incapacité à retenir le passé et à imaginer l'avenir, m'a été fournie par les luttes effroyables auxquelles j'ai pu assister entre individus d'une même espèce. Chez nous, l'idée qu'un groupe d'Uraniens pourrait attaquer un autre groupe, lancer sur lui des objets destinés à le blesser, essayer de l'asphyxier par des gaz empoisonnés semble absurde.

C'est pourtant ce qui se passe sur la Terre. En quelques années d'observation, j'ai pu observer tantôt dans un coin, tantôt dans un autre de cette planète, des masses compactes d'hommes s'affronter. Parfois ils combattent à ciel ouvert ;

parfois, abrités dans des terriers, ils essaient de démolir les terriers voisins en les arrosant de lourdes masses de métal, parfois ils s'affublent d'ailes* rudimentaires pour lancer leurs projectiles du haut du ciel. Notez qu'en même temps ils sont, eux aussi, arrosés de la même manière. C'est un spectacle affreux et ridicule. Les scènes d'horreur auxquelles on assiste alors sont telles que, si ces animaux avaient la moindre mémoire, ils en éviteraient le retour, au moins pendant plusieurs générations. Mais au cours de la vie des mêmes hommes, pourtant si brève, on les voit deux ou trois fois se lancer follement dans les mêmes aventures meurtrières.

Un autre exemple frappant de cette aveugle obéissance du Terrien à ses instincts est la façon dont il reconstruit, sans se lasser, les hommilières en certains points de la planète où elles sont condamnées à être détruites. C'est ainsi que j'ai observé avec attention une île très peuplée où, en huit ans, tous les nids ont été démolis trois fois par des secousses de l'écorce terrestre. Pour tout observateur de bon sens, il est évident que les animaux qui vivent en ces lieux devraient émigrer. Ils n'en font rien, reprennent avec des gestes rituels les mêmes morceaux de bois et de fer, et refont avec zèle une hommilière qui sera détruite à nouveau l'an suivant.

« Mais », disent mes adversaires, « si absurde que soit l'objet de cette activité, il n'en est pas moins vrai qu'elle est ordonnée, qu'elle prouve

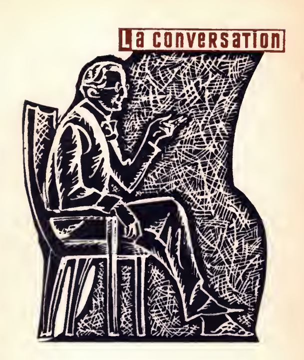
l'existence d'une puissance directrice, d'un esprit. »

Erreur encore ! Le grouillement d'hommes que vient déranger un tremblement de terre est semblable, comme je l'ai montré, au mouvement des molécules gazeuses. Celles-ci décrivent, si on les observe individuellement, des trajectoires brisées et complexes, mais par leur grand nombre elles produisent des effets d'ensemble simples. De même, si nous détruisons une hommilière, des millions d'insectes se heurtent, se gênent dans leurs mouvements, s'agitent de la même manière la moins méthodique et pourtant, au bout d'un certain temps, l'hommilière se trouve reconstruite.

Tel est ce singulier intellect dans lequel il est de mode aujourd'hui de voir une réplique de la raison uranienne ! Mais la mode passe et les faits restent, qui nous ramènent aux bonnes vieilleries de l'âme uranienne et de sa destinée privilégiée. Pour moi, je m'estime heureux si j'ai pu, par quelques expériences conduites avec prudence et modestie, contribuer à ruiner des doctrines pernicieuses et à remettre à leur place, dans l'échelle des êtres, des animaux, certes curieux et dignes d'être étudiés, mais très propres par la naïveté même et l'incohérence de leurs actions, à nous faire mesurer l'abîme creusé par le Créateur entre l'âme uranienne et l'instinct bestial.

Mort de A. E. 17.— Fort heureusement, A. E. 17 est mort à temps pour ne pas être témoin de la première guerre inter-planétaire, de l'établissement des relations diplomatiques entre Uranus et la Terre, et de la ruine, par la connaissance des faits, de toute son œuvre. Il a joui jusqu'au bout de sa gloire, qui était grande. C'était un Uranien simple et bon, qui ne devenait irritable que lorsqu'il était contredit. Fait intéressant pour nous : le monument qui lui a été élevé, sur Uranus, porte sur son piédestal un bas-relief, établi d'après une téléphotographie, et qui représente une masse grouillante d'hommes et de femmes, dans un décor qui rappelle celui de la Cinquième Avenue*.

La conversation



DE LA CONVERSATION SENTIMENTALE

Ce qu'on appelle charme est un mélange de coquetterie et de naturel qui inquiète et rassure dans le même temps. C'est l'aisance des sentiments, comme la grâce est celle des mouvements.

On n'aime pas une femme pour ce qu'elle dit ; on aime ce qu'elle dit parce qu'on l'aime.

Il y a des amitiés et des amours dont le ton a été pris trop haut. On n'y est jamais très heureux. Rien ne se soutient avec bonheur que le naturel.

La conversation d'un bon ménage est familière, banale et savoureuse comme ces plats, faits d'ingrédients simples, que l'on préfère aux plus rares.

Il faut à deux époux beaucoup d'indulgence pour se supporter en public. Chacun trouve l'autre affecté, inexact. Anecdotes et sentiments semblent déformés par le désir de plaire ou par la crainte de choquer. Un personnage public apparaît, tout différent de l'être intime et du personnage domestique. Une affection impatiente s'irrite de ce décalage et en demande compte. Un amour vrai constate, lui aussi, que les images ne coïncident pas, mais comprend, sourit et n'en aime que mieux.

Il y a des femmes qui, nées vives et charmantes, sont éteintes en quelques mois par un mari. Leurs idées sont traitées par lui avec tant de mépris et de hauteur qu'elles en viennent à douter d'elles-mêmes ; les voilà timides, ombrageuses, avec des airs de chien triste et battu. Il faudra bien du tact à leur premier amant pour leur rendre la confiance.

Un homme et une femme qui s'aiment, qui ont été longtemps séparés et qui se rencontrent après une longue absence, ont quelque peine à retrouver le ton de leurs entretiens. Il faut une certaine température pour que les combinaisons

de sentiments se produisent, et il semble que ces conversations de reprise doivent parcourir en quelques minutes tous les stades précédents de l'amour, comme l'embryon refait en quelques jours toute l'histoire des êtres vivants.

Il y a chez certains hommes, et surtout chez certains maris, une façon d'écarter les propos des femmes qu'elles supportent malaisément. Elles ont raison. Il est vrai que la maladresse de leur vocabulaire fait parfois apparaître comme niaises ou banales leurs pensées les plus profondes. Mais il suffit de prendre la peine de transposer en langage humain.

Les hommes mentent sans naturel. Les femmes, qui y sont admirables, découvrent chez ceux qu'elles aiment la moindre nuance de mensonge. Il y a dans le ton d'un homme coupable quelque chose de délibéré qui marque l'absence de naturel par l'excès même du naturel.

La mémoire la plus étonnante est celle d'une femme amoureuse.

Souvent, dans les conversations entre homme et femme, le ton plaisant n'est là que pour masquer l'intensité du désir. On dirait que, conscients de la force qui les emporte et du danger qui les menace, ils s'efforcent de proté-

ger leur repos par la feinte indifférence de leurs discours. Alors tout trait est allusion, toute phrase est un coup de sonde, tout compliment une caresse. Alors discours et sentiments glissent sur deux plans superposés, et le plan supérieur, où passent les mots, ne peut être interprété que comme signe et symbole de l'autre, où se meuvent des images confuses.

A la naissance de l'amour, les amants parlent de l'avenir. A son déclin, ils parlent du passé.

Que la conversation est aisément belle quand elle est éclairée par l'amour ! Les mots les plus ordinaires y prennent soudain un éclat vif. Fruits et légumes dans la lumière de Venise *.

J'aime ce mot de Stevenson * : « Il n'y a que trois sujets de conversation : Je suis moi, vous êtes vous, et les autres sont les étrangers. »

Tout être est enveloppé de plusieurs rideaux de mystérieuses vapeurs. Le grand plaisir de l'intimité est de voir se soulever l'un après l'autre ces brouillards et de deviner, derrière eux, les contours réels de l'esprit. L'amour exige que le mystère se dissipe. Il exige aussi qu'il demeure. Le grand soleil endort, ennuie.

La certitude d'être aimé donne beaucoup de grâce à un esprit timide, en lui rendant le naturel.

DES CONFIDENCES

Le désir naît du contact fortuit de deux épidermes, la confidence de celui de deux sensibilités ; l'un ne suffit pas plus à créer l'amour que l'autre l'intimité.

Tant que deux interlocuteurs n'ont pu trouver en eux la nappe dormante des souvenirs, l'entretien languit, altéré. Dès qu'un coup de sonde plus profond la touche, la source des confidences jaillit.

Rien de plus agréable que de percevoir dans une conversation jusqu'alors aride la montée encore invisible de cette fraîcheur.

Les hommes les plus secrets sont confidentiels, mais sous forme d'idées générales. Ils se croient à l'abri derrière ce masque. Et moi-même qui écris cela...

Un conseil est toujours une confession.

La confidence fait haïr ou aimer celui qui l'a reçue. On découvre qu'il en était ou qu'il n'en était pas digne, qu'il la porte bien ou mal.

Ovide* a tort. C'est dans le malheur que tu compteras de nombreux amis. Etre le confident du bonheur exige des vertus plus rares.

« L'une des misères des maladies, disait Mme du Deffand *, c'est qu'on devient la proie de tous les sots, qui, ne sachant que faire, vous apportent leur ennui et l'appellent charité. »

C'est une grande marque de bonté que de savoir oublier les souvenirs des autres.

Les confidences vont naturellement au malheur. Il révèle une parenté d'âmes qui était demeurée inconnue.

Certaines femmes ne demandent à une amie de tenir une confidence secrète que pour mieux répandre une nouvelle.

Le romancier est le seul homme qui puisse être discret sans souffrir ; ses confidences sortent en domino.

Il y a grand plaisir à se trouver le centre de plusieurs confidences sur un même sujet. On obtient ainsi des vues croisées qui éclairent des faces diverses. Surtout on éprouve une vraie satisfaction quand la pointe d'une confidence, pénétrant dans le creux d'une autre, complète parfaitement le dessin.

La voix qu'un homme prend pour lire révèle non ce qu'il est, mais ce qu'il veut être. C'est la voix du personnage qu'il imagine quand il pense à lui.

On n'ose guère être bienveillant par crainte d'être ennuyeux, mais c'est une erreur, on serait original.

Tout homme sait que les autres se trompent en le jugeant, mais non qu'il se trompe en jugeant les autres.

Si nous connaissions les autres comme nous-mêmes, leurs actions les plus condamnables nous paraîtraient mériter l'indulgence.

Provincial et de famille austère, les premières conversations entendues à Paris m'ont épouvanté. Sur chaque homme, sur chaque femme, des anecdotes comiques ou scandaleuses amusaient les convives d'un dîner. Il me semblait qu'on accusait sans preuves, sans bonté. Etre le sujet de semblables propos me semblait l'aventure la plus terrible.

On s'aperçoit en vieillissant que l'universalité de ces médisances leur enlève beaucoup de force. Fausses, elles sont vite oubliées, et un caractère s'impose toujours. Vraies, elles ne changent guère l'accueil fait à celui qui en est l'objet, ni même l'amitié qu'on a pour lui. La société ne châtie que les vices qui risquent de la détruire. Le monde, qui existe par la conversation, ne saurait en vouloir à ceux qui la nourrissent.

Il faudrait s'imposer cette règle : Ne jamais répéter un propos malveillant sans en avoir vérifié le contenu. Il est vrai qu'on ne dirait plus rien.

A..., qui semble naturellement bienveillant et même indulgent, accueille avec une étrange facilité toute médisance sur B... C'est qu'ils souhaitent tous deux la même place.

Il y a des hommes qui louent leurs amis, comme ils louent leurs meubles, leur femme, par vanité. « La cordialité, disait Proust, surfait avec autant de plaisir qu'en prend la malveillance à déprécier. »

Ce que les hommes vous pardonnent le moins vite c'est le mal qu'ils ont dit de vous.

Nous répandons presque toujours nous-mêmes les calomnies qui nous font le plus souffrir, en les démentant auprès de ceux qui ne les avaient jamais entendues.

Chez certaines femmes l'orgueil l'emporte tellement sur la pudeur qu'elles avoueraient volontiers des fautes qu'elles n'ont pas commises.

On peut toujours, à l'analyse, découvrir des motifs bas dans les actions les plus louables,

comme on trouve dans l'air le plus pur des traces légères de gaz irrespirables. Mais c'est le mélange seul qui importe.

On ne devrait pas dire de mal des amis chez lesquels on vient de dîner dans un rayon de cent mètres à partir de leur maison.

Il est presque toujours surprenant d'approcher les êtres auxquels le monde prête des actions assez noires, et l'épreuve leur est souvent favorable. Peut-être est-ce parce que le monde se trompe et transforme avec une étonnante facilité l'hypothèse malveillante en affirmation, mais peut-être aussi parce que l'action blâmable ne fait pas corps avec le caractère. Elle s'est trouvée faite ; le coupable lui-même la désapprouve et ne comprend plus comment il l'a commise ; elle lui est aussi étrangère qu'elle peut l'être aux spectateurs. Ou bien encore il aperçoit si clairement l'enchaînement de circonstances qui l'a conduit vers une attitude surprenante qu'il en vient à trouver celle-ci naturelle et, par son aisance, fait penser qu'elle l'est. Ainsi, bien souvent, la rencontre de l'Homme guérit des préventions contre le Personnage.

Rapporter à des amis les propos déplaisants que d'autres ont tenus sur eux : Jalousie qui s'abrite derrière fausse bienveillance.

L'effort pour réparer une « gaffe » fait souffrir celui qui en est l'objet plus durement que la gaffe elle-même.

Les hommes aiment tant à entendre parler d'eux qu'une discussion sur leurs défauts les enchante.

Il y a chez tout être des points sensibles, parfois inconnus de lui-même. Quiconque irrite un de ces points se fait haïr profondément.

Souvent ces régions douloureuses communiquent avec des centres secondaires*. On s'étonne de l'émotion que produit telle phrase banale ; c'est qu'elle allait rejoindre par un chemin bien caché une des parties malades de cet esprit.

DE LA SINCERITE

Un vaste décor naturel aide à la sincérité. Les pensées humaines les plus surprenantes y semblent si petites qu'on les avoue.

Si un homme disait tout ce qu'il pense, on ne le croirait pas. On aurait raison. Quel est l'homme qui pense tout ce qu'il pense ?

Il y a des êtres pour qui nous avons commencé par hasard de jouer un certain personnage ; par une sorte d'indolente complaisance nous y retombons dès qu'ils paraissent, et ils ne se

trompent pas en nous jugeant tout différents de ce que nous sommes.

Ce qu'il y a de dangereux dans le cynisme, c'est qu'il fait de méchanceté vertu.

La sincérité consiste moins à dire tout ce que l'on pense qu'à ne jamais rien dire que l'on ne pense au moment où on le dit.

Toute confession veut être cohérente, ce qui la fausse. L'homme est plus complexe que sa logique.

En conversation, comme en chirurgie, il ne faut intervenir qu'avec prudence. Les professionnels de la sincérité opèrent des amitiés et des amours qui étaient sains et qui en meurent.

L'aspect dangereux de la sincérité, c'est qu'elle finit par créer son objet. Si tu dis : « Je suis ambitieux, jaloux », tu te sens autorisé à l'être, et, paré du prestige de la franchise, le vice devient glorieux.

Il faut de la mesure dans la sincérité, même avec les plus intimes. Tout dire, c'est transformer en jugement ce qui n'est peut-être qu'un mouvement d'humeur ; c'est risquer de perdre un ami pour un rôti mal digéré, pour une migraine, pour un orage.

Rien de plus indispensable à un bon entretien que la certitude d'une estime mutuelle. Chacun veut être fidèle à l'image que l'autre a formée et se hisse au plus haut de lui-même.

Cependant il y faut de la mesure. Se hisser au-dessus de soi-même devient acrobatie fatigante.

Nous aimons la franchise de ceux qui nous aiment. La franchise des autres s'appelle insolence.

Il y a des hommes de qui la présence nous prive soudain de toute mesure et de toute justesse d'esprit. Parce que nous les sentons hostiles, nous dépassons notre pensée. Nous sortons de là furieux contre nous-mêmes, et le souvenir de cette fureur devient, si nous les rencontrons encore, une nouvelle cause de violence. Il faut éviter de les voir ou nous préparer à leur rencontre par une ferme méditation.

Pour pouvoir être naturel, il ne faut voir que ceux que l'on aime.

Nous ne pouvons parler franchement de nos défauts qu'à ceux qui reconnaissent nos qualités.

On apprend assez tard dans la vie à avouer qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, qu'on n'a

pas lu les livres qu'on n'a pas lus. Mais ce parti bien pris, quel soulagement !

Il y a un art de contredire qui est la plus adroite des flatteries.

Avouer qu'on est timide, c'est déjà cesser de l'être.

C'est au moment de se révéler et de s'expliquer à autrui qu'on découvre l'ignorance où l'on est de soi-même. Il nous faut construire l'édifice, chambre à chambre, pendant que nous le faisons visiter.

Il y a dans beaucoup de mensonges plus d'indolence que d'hypocrisie.

SCENES DE LA VIE DE CONVERSATION

La conversation s'est engagée autrement qu'ils ne le souhaitaient l'un et l'autre. Les voici impuissants à l'arrêter. Les phrases, traînant les phrases, passent devant eux avec fracas. Aiguilleurs trop tard attentifs, ils regardent le convoi de leurs paroles fuir, sur la mauvaise voie, vers la catastrophe certaine.

Il craint tant de n'être pas seul à parler que, s'il s'interrompt un instant, il étend la main, comme l'agent aux voitures, et arrête en ligne respec-

tueuse les phrases qui allaient s'élancer d'autres bouches.

Assise à côté de l'homme illustre dont elle a lu tous les livres elle essaie en vain de le faire parler. Elle ne voit pas à sa gauche le jeune inconnu qui lui raconterait de si belles histoires.

Il n'a recherché cette longue conversation que pour présenter sa requête, mais il voulait le faire négligemment, comme par hasard, et feindre de trouver plaisir à tout le reste. Son ton l'a trahi, il l'a senti ; un silence a suivi la phrase dangereuse, et son hôte, un peu froid, sait maintenant qu'il n'a devant lui qu'un solliciteur.

« Spinoza *, dit M..., je le relis sans cesse. » Et il cite une phrase qui est belle. On admire sa mémoire, sa culture. Mais gardez-vous de rencontrer M... souvent. Vous découvririez qu'il vit sur cette phrase, sur quelques autres de Confucius * et sur un passage de saint Augustin *. Les hommes sont faciles à étonner.

Il y a des hommes dont la conversation dépend de ceux qui les entourent, comme il y a des réactions chimiques qui ne s'opèrent qu'en présence de certain corps. P... ne vaut que devant sa femme, qui le surveille ; B... n'est charmant que loin de la sienne : il est jaloux.

Au téléphone, il est plus facile de demander ou de refuser. L'absence du visage humain prive l'imagination de tout support.

La conversation par téléphone est à mi-chemin entre l'art et la vie. On y parle avec l'image qu'on a formée de l'auditeur.

CONSEILS A UN JEUNE HOMME

Je t'ai observé pendant cette soirée. Tu étais triste et mécontent de toi. Voisin de cette femme qui te plaît, tu es resté silencieux. Elle a essayé de te rassurer, puis, surprise, s'est levée en murmurant qu'elle devait partir. Tu l'as retrouvée une heure plus tard, éveillée, joyeuse, à côté d'un autre.

Tu es allé te joindre au groupe des politiques. Ils parlaient de thèmes qui te sont familiers : guerre, impôts, crise des affaires. Ils ne disaient rien qui n'ait été imprimé chaque matin dans les journaux, et pourtant leur conversation semblait animée et spirituelle. Tu as voulu t'y mêler. On s'est tourné vers toi avec étonnement, comme un bon orchestre regarderait un nouveau violon qui jouerait faux. Tu as commencé un récit ; après deux phrases, l'homme à la voix forte t'a coupé, et personne ne t'a demandé la fin.

Tu n'as pas osé partir le premier, mais tu as suivi le premier départ. Tu marchais lentement, tête basse ; j'avais envie de te rejoindre et de te dire : « Ne t'émeus pas... Ton aventure de ce soir ? ... Elle fut la nôtre. Ne crois pas qu'on ait remarqué ton silence. Les hommes sont trop occupés d'eux pour penser longtemps à toi.

« Tu envies leur autorité. Tu l'auras. Elle naît de la fonction et de l'absence d'esprit critique. Les places te viendront avec l'âge. Tu apprendras à affirmer. Tu auras une doctrine, blindage solide. Abrité par elle, tu deviendras brave. En attendant, observe quelques règles de prudence provisoire. Ne parle jamais quand, pour la première fois, tu pénètres dans un monde nouveau. Ecoute, cherche ta profondeur. A Paris il n'y a pas en même temps plus de trois sujets de conversation possibles. Etudie-les tous trois, comme tu préparerais les questions d'histoire pour un examen. Puis guette ta chance. Dans les questions de fait, la compétence donne droit d'intervenir. Sois théologien, psychologue, juriste. Cite les formules d'excommunication et les articles du Code civile. Le monde respecte les spécialistes.

« Avec les femmes, sois simple et hardi. Elles aiment le naturel et qu'on leur parle d'elles. N'hésite pas à décrire ton métier. Il y a dans l'activité de l'homme comme une caresse rude

qui les flatte. Ne crains même pas d'être obscur. Elles diront : « C'est ce jeune homme qui a de jolis yeux et qui m'a parlé d'Einstein. »

Dans une assemblée un peu nombreuse, une femme peut faire beaucoup de bien par un regard à un ami tendre et inquiet. Sourire qui passe dans les yeux, s'envole et se pose sur une âme apaisée.

DE LA CONVERSATION-JEU

Le plaisir de la conversation ne naît pas des idées, toujours plus faibles que dans un bon ouvrage écrit, mais plutôt d'une rapidité à s'exprimer et à se comprendre, d'une égalité de cœur et d'esprit où l'on jouit à la fois de l'éclat de l'autre et du sien propre, d'un goût commun, des nuances justes qui en fait chercher de plus fines et les trouver.

La conversation-jeu est une œuvre d'art. Elle exige le sacrifice de l'idée. Un homme passionné gâte toujours une conversation-jeu. Il réfute gravement des arguments légers ; il poursuit des thèmes abandonnés. La règle est d'accepter tous les mouvements de la balle et de la suivre sans regrets.

Certaines passions amusent pourtant, mais c'est que leur violence est feinte. Elles éclatent au plus haut d'un mouvement, comme le coup de

grosse caisse ou de cymbale. Puis le bon instrumentiste garde son tonnerre au repos, les yeux fixés sur la partition.

Il y a des contradicteurs-nés qui cherchent toujours l'erreur dans ce qui vient d'être dit. Attitude insupportable. La conversation est un édifice auquel on travaille en commun. Les interlocuteurs doivent placer leurs phrases en pensant à l'effet d'ensemble, comme les maçons leurs pierres. Les esprits à système doivent être écartés, sauf s'ils atteignent au paradoxe.

Dans la conversation-jeu, les meilleures qualités de l'esprit, la suspension du jugement, la modération, la modestie, deviennent des obstacles. Il y faut une hardiesse un peu folle et un personnage bien tranché.

La conversation exige qu'on y soit présent tout entier; la plupart des hommes sont absents d'eux-mêmes.

Quiconque à quarante ans discute encore n'a jamais aimé la vérité.

La conversation, comme le géant de la fable *, a toujours besoin de revenir à terre. Après une phrase abstraite, il faut des exemples. C'est pourquoi il n'y a dialogue agréable qu'entre gens qui connaissent les mêmes hommes, les mêmes

livres. Plus les membres d'un groupe se voient, plus ils ont plaisir à se voir. D'où le charme de l'école, de la caserne, du salon Verdurin *.

Dans un milieu qui n'est pas le tien et dont tu ignores les secrets, emporte la conversation vers les cimes métaphysiques. Là, le guide au piolet sûr devient le maître de ces fiers étrangers que l'amour-propre empêchera toujours de demander à redescendre.

A Paris, il est bon qu'un récit soit bref. Seuls, les chefs d'Etat, ministres, amiraux, généraux, ambassadeurs, hommes de lettres arrivés et deux ou trois causeurs professionnels ont droit à la parole plus de cinq minutes. En province, remplacez « ministres, généraux » par « préfets et colonels ». A l'étranger, aucune limite de temps.

Le grand causeur pense tout haut, en contact direct avec lui-même. Penché sur un gouffre intérieur, il décrit ce qu'il y voit passer.

Ton de l'éloquence : se retrouve chez un homme politique, chez un conférencier, jusque dans la vie ordinaire.

« Dans mon salon, dit S..., je dispose toujours les fauteuils par groupes de trois. Deux est dangereux. Le malheureux que le hasard a placé

à côté d'une femme ennuyeuse ne peut plus rompre l'entretien, et un couple qui désire une retraite tranquille a toujours assez d'énergie pour éliminer le troisième. »

J'ai longtemps cru que, comme la conversation d'un technicien avait illuminé pour moi la Bourse, celle d'un autre la vie politique, et d'un autre encore la chimie, un jour quelques mots d'un philosophe allaient me faire comprendre la vie.

Un salon doit être assez grand pour que deux groupes y puissent parler l'un de l'autre sans risquer d'être entendus.

J'aime ce que Mme de Sévigné* appelait des conversations « infinies », où l'on parle de soi, des autres, de petites aventures, de rien, sans traits, sans éclat, sans crainte du silence, avec confiance, avec abandon.

Mon goût pour le sérieux fait que j'ai surtout plaisir à converser avec les enfants.

DE LA CONVERSATION-ACTION

Il ne faut pas croire que les affaires soient traitées comme des opérations mathématiques. Un homme médiocre mais volontaire fera signer un acte dangereux par un homme

intelligent mais faible, qui sait qu'il se perd et pourtant signe.

En conversation, comme à la guerre, il suffit de tenir un quart d'heure de plus que l'adversaire. La ténacité l'emporte sur la raison, sur l'éloquence, sur la science. Elle réduit au silence par l'ennui.

Un bon raisonnement trop répété devient faible. Il semble que l'esprit, comme le sang, fabrique des antitoxines et puisse être mithridatisé *, même contre l'évidence.

Dans une conversation dont la fin doit être une décision, la valeur des arguments est moins importante que l'ordre dans lequel on les engage. La surprise est nécessaire, comme au combat.

La plupart des hommes sont encore plus paresseux qu'ambitieux, d'où le succès des imbéciles.

Dans une discussion, le difficile, ce n'est pas de défendre son opinion, c'est de la connaître.

Les lieux communs du spécialiste ont un charme que n'ont pas les autres ; nous l'écoutons avec patience énoncer des vérités premières qui ne trouveraient pas grâce un instant si elles étaient dites par nous.

La voix doit être d'autant plus douce que la résolution est ferme, et un sourire corrige heureusement la violence d'un démenti.

Commencer par exposer solidement le point de vue de l'adversaire, c'est lui enlever déjà beaucoup de force.

L'expérience ne procure aucun plaisir, si ce n'est celui de la transmettre.

Dans une conversation diplomatique, il est important de se couvrir par les principes mêmes de l'adversaire pour ne pas laisser place au sophisme.

Il y a des feintes en conversation comme en escrime, et un homme de sang-froid peut sans danger se découvrir une seconde pour forcer l'adversaire à montrer son jeu.

Je me sais si facile à convaincre que nul raisonnement ne me convainc plus.

Chez certains hommes, il semble qu'il n'y ait aucun lien entre le jugement et la décision. Ils cèdent sur tous les points, ils accordent tout : « Vous avez raison », l'affaire semble réglée. Vous vous apercevez au dernier moment qu'ils n'ont pas bougé d'une ligne et que tout est remis en question.

On pourrait écrire l'équation : âge + volume de la voix = constante. Les enfants au maillot et les jeunes prédicateurs hurlent pour se faire entendre ; les vieillards n'ont plus de voix et se font écouter.

DE L'ESPRIT

Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit. Il faut encore en avoir assez pour éviter d'en avoir trop.

Le comique naissant d'un contraste, il est facile d'être drôle quand on passe pour être grave. Un prêtre, un ministre, un savant ont de l'esprit à peu de frais ; l'auditoire porte à leur crédit la contrainte qu'ils épargnent.

Rien de plus surprenant, mais rien de plus délicieux pour un jeune homme que de découvrir chez un vieillard une parfaite jeunesse d'esprit.

Avant six ans ou après soixante-dix l'homme a le droit d'être naturel ; le cynisme des vieillards est exquis comme la franchise des enfants.

Il est facile de rire de soi dans les petites choses quand on s'admire dans les grandes. D'où le parfait humour des Anglais.

Les Anglais, depuis Wilde*, ont trouvé le secret de faire du paradoxe un lieu commun.

Avoir de l'esprit contre soi-même, procédé sûr de séduction. Mais est-on certain qu'il soit honnête ? L'homme le plus modeste que j'aie connu était aussi le plus vaniteux.

« Il ment toujours, disait de quelqu'un F..., mais cela m'est égal, il amuse une table. »

Walpole* disait du maréchal de Richelieu* : « On rit avant de savoir ce qu'il dit et on a raison, parce qu'on ne rirait certainement pas après. » Mot à appliquer à la plupart des hommes d'esprit professionnels.

« Rien ne prouve mieux la faiblesse de l'esprit que le goût des anecdotes. » Maxime d'un homme sans mémoire.

Une anecdote doit être introduite au moment où elle illustre ce qui vient d'être dit. L'anecdote dont on n'aperçoit pas l'application offense.

Rivarol* préparait le matin dans son lit ses improvisations du soir. Il écrivait ses épigrammes sur des cartes qu'il plaçait dans le cadre de ses miroirs et les apprenait en se faisant la barbe.

« Il n'y a jamais eu que trois improvisateurs, disait M. Emile Ollivier* : Lamartine, Thiers et moi-même. Aucun des trois n'improvisait. »

C'est manquer tout à fait d'esprit que d'en avoir à contretemps.

La grossièreté est l'esprit des sots et la contradiction leur finesse.

Il est difficile de créer des idées et facile de créer des mots ; d'où le succès des philosophes.

Ne jamais terminer à tout prix une anecdote, un discours qui se sont trouvés interrompus par une arrivée ou par un départ. C'est avarice de l'esprit que ramasser les idées tombées.

DU SILENCE

Souvent une même pensée secrète et dangereuse traverse en même temps l'esprit de deux personnes qui s'entretiennent. Chacune des deux sait que l'autre y pense ; pourtant, on n'en parle pas, et l'importune idée se retire doucement, comme ces musiques qui se rapprochent, s'éloignent, s'éteignent, sans qu'on ait vu les musiciens. Il y a des silences parlés.

Une conversation sans silences ne produit rien. Il faut un temps de gestation.

La grande maîtresse de maison ne s'inquiète pas d'un silence. Elle ne fait pas donner la garde. Elle accueille le silence et le rend aimable.

Ce que les hommes appellent chez les femmes « bavardage » n'est souvent que de la pudeur.

Les hommes craignent le silence, comme ils craignent la solitude, par la terreur du néant de la vie que l'un et l'autre laissent apercevoir.

Schumann *, ayant emmené une femme faire une promenade en barque et n'ayant pas, en deux heures, prononcé une seule parole, lui dit en la quittant : « Comme nous nous sommes bien compris aujourd'hui! »

Un jeune homme peut sans ridicule rester silencieux pendant toute une soirée, pourvu que la seule phrase dite par lui soit brillante ou délicate.

Barrès * disait : « Les soirs où je me sens incapable d'être intelligent, je feins de m'ennuyer. »

C'est délicieux quand, deux silences ayant cheminé parallèlement dans l'ombre, soudain les

deux esprits reparaissent au jour côte à côte, avec la même phrase. Ainsi, parfois, un rythme fort scande silencieusement pour l'auditeur une longue pause musicale, et le plaisir vient de ce que la reprise surgit dans l'imagination en même temps que dans l'orchestre.

КОММЕНТАРИЙ

NOUVELLES

23*. **le sous-secrétaire d'Etat aux Finances** — товарищ (заместитель) министра финансов.

Gymnase (Gymnase Dramatique) — драматический театр в Париже на Больших Бульварах.

24. **Bayeux** — Байе, город во Франции в департаменте Кальвадос.

25. « **Natacha, c'est moi.** » **Et Flaubert...** — Лев Толстой на самом деле говорил: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа». Соня — С. А. Толстая, жена писателя; Таня — Т. А. Берс-Кузьминская — ее младшая сестра. « Emma, c'est moi » — знаменитая фраза Флобера об образе мадам Бовари.

Ritz — один из самых дорогих ресторанов в Париже на Вандомской площади.

---

* Цифра указывает страницу текста.

26. **la Grande Rhétorique du lycée Henri IV** — во французских лицеях «класс риторики» — выпускной; здесь речь идет о выпуске 1893 г. одного из наиболее знаменитых парижских лицеев — лицея Генриха IV (ныне уже не существующего). Он находился, как и многие другие значительные учебные заведения Франции, неподалеку от Пантеона — усыпальницы великих людей французской нации.

la grande promotion de Normale — здесь речь идет об Ecole Normale Supérieure — высшем педагогическом учебном заведении Франции, основанном в 1794 г. Многие из его учащихся впоследствии достигли известности в области литературы, искусства, политики. Ниже перечислены знаменитые выпускники Эколь Нормаль: Ипполит Тэн (1828—1893) — историк, философ и литературный критик; Люсьен Прево-Парадоль (1829—1870) — литератор и публицист; Франциск Сарсэ (1827—1899) — театральный критик; Эдмон Абу (1828—1885) — писатель и журналист.

27. **l'histore des «Treize»** — «История тринадцати», тайного общества заговорщиков, она объединяет три повести Бальзака: «Феррагус» (*Ferragus*, 1834), «Герцогиня де Ланже» (*La duchesse de Langeais*, 1834), «Златоокая девушка» (*La fille aux yeux d'or*, 1834), входящие в «Человеческую комедию».

le régiment nous dispersa — *зд.* régiment *в знач.* военная служба.

28. **Salon de 1900** — одна из выставок общества «Французские художники», происходивших в Париже с 1881 г. первоначально во Дворце промышленности на Елисейских Полях, а затем в Гран-Пале.

29. **l'Odéon** — Одеон, парижский театр, основанный в 1797 г. В 1946 г. театр Одеон был объединен с Комеди Франсэз и существует под названием «Люксембургский зал» при Комеди Франсэз.

Ardèche — департамент Ардеш на юго-востоке Франции.

renversement *m* — *зд.* переделка, перекройка.

Barrès — Морис Баррес (1862—1923), французский писатель-националист, мастер психологического анализа.

30. ***Wilhelm Meister*, de Gœthe** — речь идет о цикле из трех «романов воспитания» Гёте: «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» (1776—1785), «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795—1796) и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821—1829).

Bergson — Анри Бергсон (1859—1941), французский философ-идеалист, создатель философии интуитивизма, рассматривающей интуицию как особый род познания.

le Louvre — Луврский дворец в Париже, бывшая резиденция французских королей, ныне всемирно известный музей изобразительных искусств.

Holbein — Ганс Гольбейн (1497—1543), немецкий художник-портретист.

Fragonard — Жан-Оноре Фрагонар (1732—1806), французский художник и гравер.

un petit *Don Quichotte* romantique — томик «Дон Кихота» Сервантеса в издании времен романтиков (начало XIX в.)

31. **Mrs.** *англ.* — миссис, госпожа.

Whistler — Джеймс Уистлер (1834—1903), американский художник-портретист и мастер станковой живописи.

32. **le directeur de lecture** — литературный наставник (по аналогии с directeur de conscience — духовник).

un roman d'analyse — роман, где основное внимание в повествовании уделяется психологическому анализу.

33. ***Dominique*** — «Доминик», психологический роман Эжена Фромантена (Eugène Fromentin, 1820-1876), французского писателя и художника.

les théâtres des Boulevards — парижские театры, расположенные на Больших Бульварах (театры Амбигю, Капюсин, Жимназ, Нувоте, Варьете и др.).

les listes de «générales» — список лиц, приглашаемых на генеральные репетиции.

34. **le Prix Goncourt** — Гонкуровская премия, высшая литературная премия во Франции, присуждаемая ежегодно. Присуждается Гонкуровской академией — литературным обществом, основанным в 1896 г. французским писателем Эдмоном де Гонкуром.

de jure *лат.* — де юре, по всей форме.

Sainte-Beuve — Шарль-Огюстен Сент-Бёв (1804—1869), французский критик, поэт-романтик.

35. **notre «Fête de Venise au XVIIIe siècle»** — здесь речь идет о праздничных вечериках, устраиваемых кружком друзей.

36. **l'honorariat du grade** — сохранение офицером запаса или служащим администрации звания (в виде почетного титула) и после выхода в отставку. *Зд.* почести.

Saint-Cyr — Сен-Сир, высшее офицерское училище близ Парижа.

38. **l'Ecole des Chartes** (Ecole Nationale des Chartes) — высшее учебное заведение в Париже, готовящее архивистов-палеографов, библиотекарей.

Salonique — Салоники, город в Греции; в годы первой мировой войны сюда был направлен французский экспедиционный корпус.

décrocher *фам.* — *зд.* получить пост.

un fantassin de deuxième classe — пехотинец II класса; солдаты во французской армии делятся на два класса: в I класс зачисляются призывники, имеющие более высокое социальное положение и образование. Солдаты I класса считаются старшими по отношению к солдатам II класса. В I класс из II переводятся отличившиеся по службе.

Chalonnes... fut rappelé par la propagande — Шалонн был отозван ведомством пропаганды.

être décoré au titre militaire — быть награжденным орденом за военные заслуги.

son collègue des Beaux-Arts — речь идет о коллеге из Департамента Искусств (Direction des Beaux-Arts).

promotion *f* — *зд.* promotion à l'ordre.

l'armistice — *зд.* перемирие, заключенное между Германией и Францией 11 ноября 1918 г.

40. **des titres** — *зд.* заслуги, основания для награждения.

41. **dans la promotion du ravitaillement** — т. е. по списку лиц, представленных к награде по ведомству снабжения.

la promotion Hégésippe Moreau — *зд.* видимо, список лиц, представленных к награде в связи с юбилеем поэта Эжезиппа Моро (1810—1838).

un Goncourt — *зд.* один из десяти членов Гонкуровской академии.

42. **Rivarol** — Антуан де Ривароль (1753—1801), французский писатель и журналист.

Mallarmé — Стефан Малларме (1842—1898), французский поэт, глава школы символистов.

la carrière... superbe et droite comme une route royale — route royale (ныне route nationale) — королевская национальная дорога — очень прямая дорога, принадлежащая государству и поддерживаемая в хорошем состоянии.

43. **on parlait de l'Institut** (Institut de France) — т. е. говорили о Шалонне как кандидате в члены Французской академии.

Universal Rubber Company *англ.* — Всеобщая каучуковая компания.

le Continent — Континент, так в Англии называют Европу (в противоположность Британским островам).

44. **son lancement** — *зд.* начало известности артиста, создание ему имени.

La Napoule — Ла Напуль, французский курорт на Лазурном берегу Средиземного моря.

Eric Satie avant le temps des disciples — Эрик Сати (1866—1925), французский композитор и пианист. Здесь имеется в виду тот период жизни Сати, когда, будучи учеником консерватории, он зарабатывал свой хлеб, играя на фортепиано в одном из кабачков Монмартра. Позднее (в 1918 г.) у него появились последователи, так называемая «шестерка», в которую входили композиторы Мило, Оннегер, Орик, Пуленк, Дюрей и Тайефер.

Эрик Сати возглавлял эту группу, противопоставлявшую свои творческие принципы принципам композитора Дебюсси.

les livres religieux de l'Inde — рукописные санскритские тексты древнеиндийской религиозной литературы. На европейские языки переведено и обработано очень незначительное число таких рукописей.

45. **lancer sur la piste** — навести на след.

une Mrs. Pecks — женщина типа миссис Пек.

46. ***There is more in this...*** *англ.* — В этом заключено нечто большее...

l'œuvre épaisse d'Henry James — значительное по объему литературное наследие северо-американского писателя Генри Джеймса (1843—1916).

George Moore — Джордж Моор (1852—1933), ирландский поэт.

Pirandello — Луиджи Пиранделло (1867—1936), итальянский драматург.

Hofmannsthal — Гуго фон Гофмансталь (1874 —1929), австрийский поэт и драматург.

Sinclair Lewis — Синклер Льюис (1885—1951), американский романист.

48. **je me gardai de relever le mot** — я удержался от замечаний.

49. **ingénieusement truqués** — искусно устроенные, так что кажется, будто они естественные.

butler *англ.* — дворецкий, старший лакей.

51. **tant *la Chartreuse* que *le Rouge*** — имеются в виду «Пармская обитель» (*la Chartreuse de Parme*, 1839) и

«Красное и черное» (*le Rouge et le Noir*, 1830) — романы Стендаля.

manager *англ.* — импрессарио.

Paul Morand — Поль Моран (р. 1888), французский писатель и дипломат.

52. **prunus** *лат.* — сливовое дерево.

53. **un roman de midinette** — роман для белошвеек, для чувствительных девиц.

55. ***No, no... it's unforgivable...*** *англ.* — Нет, нет... это непростительно...

56. **le Misanthrope, acte I, scène II** — речь идет о комедии Мольера «Мизантроп» (1666).

58. **Bidou** — Анри Биду (1873—1943), французский писатель и критик.

Jaloux — Эдмон Жалу (1878—1949), французский писатель, автор тонких психологических романов, критик.

62. **Ménétrier** — Пьер-Эжен Менетрие (1859—1935) французский врач, профессор истории медицины, автор книги «Рак» (1908).

63. **Beauvallon** — Боваллон, французский курорт на побережье Средиземного моря.

65. **cousues de câble blanc** *иронич.* — шитые белым канатом (ср. **cousues de fil blanc**).

les îles grecques — острова в Ионическом море, привлекающие множество туристов.

68. **je suis encore dans le noir** — я еще блуждаю в потемках, мне пока неясно до конца.

69. **Grenade** — Гренада, город и провинция в Андалузии (Южная Испания).

70. **un bureau Empire** — письменный стол в стиле ампир, распространенный в эпоху Наполеона I.

les tics de langage — привычка непроизвольно засорять свою речь звуками или словами — «паразитами».

74. **Frédérick Lemaître** — Фредерик Леметр (1800—1876), французский актер и драматург, с особенным успехом выступал в романтических драмах.

Garrick — Давид Гаррик (1717—1779), английский актер, прославившийся исполнением ролей в шекспировских трагедиях.

75. **un rôle à ta mesure** — роль, достойная тебя.

77. **mais cette fois, chapeau!** — но на этот раз я покорена, я преклоняюсь (*сокр.* chapeau bas! — шапку долой!).

78. **Hallucinant!** — Потрясающе! Невероятно!

la Dame aux camélias — речь идет о Маргарите Готье, героине романа (1848) и драмы Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» (1852).

80. **Menton** — приморский курортный городок на границе Франции и Италии, в 25 км от Ниццы.

83. **la crise de 1929** — речь идет о мировом экономическом кризисе в капиталистических странах (1929—1934).

85. **Richelieu** — кардинал Ришелье (1585—1642), фактический правитель Франции при Людовике XIII.

87. **cyste** *f* — вид папоротника.

95. **Louviers** — город во Франции в департаменте Эр.

97. **Thanatos** — Танатос, в древнегреческой мифологии бог смерти, брат-близнец бога сна Гипноса.

Combien, *Steel*? — Каков курс акций «Стил»? ***Steel*** *англ.* — сталь.

Manhattan — Манхаттан, остров в устье реки Гудзон, на нем расположена деловая часть Нью-Йорка.

98. **la Banque Holmann** — банк, основанный крупным английским финансистом Уильямом Хольманном (1822—1897).

Kennecott — «Кеннекот Коппер», концерн цветной металлургии, находится под контролем финансово-промышленной группы Морган-Бейкер.

il a joué sa chemise — *зд.* он все потерял.

99. ***down*** *англ.* — вниз.

Il avait acheté à 112. — Он купил (акции) по курсу 112 долларов.

Arizona — Аризона, один из горных штатов на юго-западе США.

pour marge de ces opérations — в покрытие этих операций.

il fit sa caisse — он подсчитал свои деньги.

100. **New Mexico** — Нью-Мексико, штат на юге США у границы с Мексикой.

101. **un composé barbiturique** — снотворное.

102. **de légitimes scrupules religieux** — *зд.* вполне законные религиозные сомнения (католическая церковь осуждает самоубийство как тяжелый грех).

103. **Massa** — обращение к белым, принятое у негров-слуг вместо Mister.

104. **la foire à ferraille** — рынок, где продаются старые скобяные изделия.

106. ***page-boy*** *англ.* — мальчик-слуга.

le Ritz de Barcelone — гостиница «Ритц» в Барселоне.

J'ai quitté au moment de la révolution — речь идет, очевидно, о буржуазно-демократической революции 1931 г. в Испании.

Nouveau-Mexique = New Mexico.

la langue usuelle — *зд.* язык, на котором вы обычно изъясняетесь, пишете.

109. **faut-il s'habiller?** — нужно ли надевать вечерний костюм?

110. **victorienne** — пуританка.

114. **Shéhérazade** — Шахразада, арабская принцесса, рассказывающая халифу Шахрияру сказки «Тысячи и одной ночи».

117. **la caisse établira votre compte** — касса произведет расчет.

Signor *итал.*— господин.
Somnial — снотворная смесь.
Léthal — смертельная смесь.

120. **steak** *англ.*— бифштекс.

121. **Périgourdin** — уроженец Перигора, старинной французской провинции (ныне департамент Дордонь).

entre les deux guerres — двадцатилетие между первой и второй мировыми войнами.

122. **le relèvement du franc par Poincaré** — Раймон Пуанкаре (1860—1934), французский государственный деятель, неоднократно бывший министром финансов, президентом Французской Республики. Ряд мероприятий, осуществленных им в 1926—1928 гг., позволил стабилизировать франк и поднять его стоимость.

123. **il fallait se mettre dans le marché** — *зд.* надо было покупать.

Utrillo — Морис Утрилло (1883—1955), французский художник, мастер городского пейзажа.

124. **La Hollande et la Suisse sont trop exposées en temps de guerre...** — Голландия и Швейцария в случае войны подвергнутся большой опасности.

depuis Roosevelt — Франклин Рузвельт (1882—1945), президент США с 1933 г. Здесь намек на некоторое падение курса доллара в связи с последствиями мирового экономического кризиса 1929—1934 гг. и увеличением количества бумажных денег в обращении.

Lexington Avenue — Лексингтон-авеню, улица в Нью-Йорке.

125. **l'arrivée au pouvoir du Front Populaire** — в 1935 г. во Франции образовался Народный фронт всех демократических антифашистских сил. После парламентских выборов 1936 г. было образовано правительство Народного фронта.

126. **un dollar-papier** — бумажный доллар.

129. **thésaurisation** *f* — тезаврация, накопление золота в частных руках.

la Trésorerie Américaine — United States Treasury Department — Министерство финансов США.

130. **le droit de sortie** — вывозная пошлина.

132. ***bell-boy*** *англ.* — посыльный (в гостинице).

133. ***New York Times*** — ежедневная американская газета, выходящая в Нью-Йорке.

front desk *англ.* — конторка дежурного администратора в гостинице.

134. **Périgord** — Перигор, историческая провинция на юго-западе Франции.

135. **Versailles** — Версаль, парк и дворец в городе Версале, близ Парижа, бывшая резиденция французских королей.

Brive (Brive-la-Gaillarde) — Брив, город в департаменте Коррез во Франции.

Périgueux — Периге, главный город департамента Дордонь во Франции, бывший центр Перигора.

137. **ce sera tout à fait hors part** — *зд.* это все будет помимо моей доли наследства.

140. **faire sa vie** — жить в свое удовольствие, полне устроить свою жизнь.

142. **Park Lane** — Парк-Лейн, фешенебельная улица в Лондоне.

Sussex — Суссекс (Сассекс), графство в юго-восточной Англии.

143. **marge** *f* — *зд.* прибыль, сумма, остающаяся при продаже одного и покупке другого владения.

144. **le chintz glacé** — хлопчатобумажная глянцевитая обивочная ткань, обычно с набивным рисунком.

Sir Henry Webb *англ.* — Sir перед именем обозначает титул «рыцаря» или «баронета».

145. **Mrs. Burne Jones** — госпожа Берн Джонс, жена сэра Эдуарда Берн Джонса, английского художника (1833—1898).

William Morris — Вильям Моррис (1834—1896), английский писатель и художник.

147. **la rue Saint-Honoré** — улица Сент-Оноре в Париже, где расположены многочисленные художественные салоны, антикварные магазины.

Manet — Эдуард Мане (1832—1883), французский художник, один из основоположников импрессионизма в живописи.

160. **Wienerwald** — Венский лес, холмистый массив в Нижней Австрии, отделяющий равнинные пространства востока Австрии от низменности реки Дунай.

164. **des Alliés** — *зд.* солдаты англо-американских экспедиционных войск, участвовавших в освобождении Франции в 1944 г.

165. **repartir à zéro** — все начать сначала.

t'es... pas cinglé=tu n'es **pas** cinglé? *арго* — ты что, спятил?

167. **Thiviers** — Тиві, город в департаменте Дордонь во Франции.

168. **une robe à rayure pékinée** — платье из полосатой ткани, в рисунке которой чередуются матовые и блестящие полосы.

174. **l'Henriette des *Femmes Savantes*** — речь идет об Анриетте, одной из героинь комедии Мольера «Ученые женщины» (1672).

dès que Jeanne eut ferré... son grand homme — *зд.* зацепила, заполучила (по аналогии с ferrer **un** poisson — подсечь рыбу на удочку).

les personnages consulaires — *зд.* лица, влиятельные в правительственных кругах.

175. **un sous-secrétariat d'Etat** — статс-секретарь по иностранным делам (заместитель министра иностранных дел).

176. **à la rentrée d'octobre** — т. е. по возвращении после летних парламентских каникул.

le Palais-Bourbon — Бурбонский дворец в Париже, построенный в 1722 г.; в настоящее время местопребывание Национального собрания Франции.

177. **Briand** — Аристид Бриан (1862—1932), французский политический деятель и известный оратор, адвокат.

Drôme — департамент Дром во Франции.

les Finances — *зд.* министр финансов.

les Travaux Publics — *зд.* министр общественных работ.

le syndicat des agents — профсоюз государственных служащих во Франции.

178. **Chéron** — Анри Шерон (1867—1936), французский политический деятель.

181. **un voyage d'études** — путешествие, предпринятое с целью изучения истории, географии, политики, экономики, культуры или быта какой-либо страны.

l'Atlas — Атлас, ряд горных хребтов и массивов в Северо-Западной Африке.

Noailles — Анна-Элизабет де Ноай (1876—1933), французская поэтесса.

183. **la maison des champs** — загородный дом.

Montélimar — Монтелимар, город в департаменте Дром во Франции.

Rio del Oro (Rio de Oro) — Рио-де-Оро, бывший испанский протекторат в Западной Африке.

184. **crier casse-cou** — предупреждать об опасности.

186. **Tombouctou** — Томбукту, город в Мали.

189. **les marées d'équinoxe** — лунные приливы во время равноденствия.

Hyde-Park — Гайд-Парк, парк в западной части Лондона.

Marble Arch — Мраморная Арка, один из входов в Гайд-Парк.

des prédicateurs en plein vent — речь идет об ораторах, по собственному почину выступающих в Гайд-Парке перед постоянно собирающимися здесь кучками слушателей.

190. **policeman** (*мн. ч.* policemen) *англ.* — полицейский.

Coroner *англ.* — чиновник местного управления.

l'Armée du Salut — Армия Спасения, протестантская пропагандистско-благотворительная организация, созданная в Англии в 1865 г. и имеющая свои отделения в различных странах.

191. **Horse Guards** *англ.* — конная гвардия.

le Surintendant de la Police (*англ.* Superintendance) — суперинтендант, полицейский чин.

l'Avenue Victor-Hugo — улица Виктора Гюго в Париже, одна из лучевых магистралей, идущих от площади Этуаль.

192. **Ayen** — Эйен, город в департаменте Коррез во Франции.

Rosznov, en Valachie — город Рошнов в Валахии, на юге Румынии.

l'Arc-de-Triomphe — Триумфальная Арка на площади Этуаль в Париже, воздвигнутая по приказу Наполеона в 1806 г.

194. **Massachusetts** — Массачусетс, штат на северо-востоке США.

building *англ.* — здание.

Hartford — Хартфорд, столица штата Коннектикут, в США.

195. **Calais** — Кале, торговый и рыболовецкий порт Франции на берегу пролива Па-де-Кале.

Douvres — Дувр, город и порт на юго-востоке Англии, у пролива Па-де-Кале.

Piccadilly-Circus — Пиккадилли-Серкус, одна из центральных площадей Лондона.

Denver — Денвер, город в США, столица штата Колорадо.

Saragosse — Сарагосса, город в Испании на реке Эбро, центр Арагонской провинции.

196. **les jardins du Luxembourg** — Люксембургский сад в Париже.

le Lac Ontario — Онтарио, озеро в Канаде.

Neuilly (Neuilly-sur-Seine) — Нейи-сюр-Сэн, городок близ Парижа.

Paul Morand — см. прим. к стр. 51.

198. ***darling*** *англ.* — дорогая.

la poire électrique — кнопка включателя электрической лампы (или звонка).

Richmond — Ричмонд, город на юге Англии.

199. ***This is my husband.*** *англ.* — Это мой муж.

This is my wife. *англ.* — Это моя жена.

201. **sans-fil** *m* — радиоприемник.

bow-window *англ.* — полуовальное окно.

un Arlequin de Picasso — Арлекин, одетый в костюм из кусочков ткани разных цветов, — одна из самых частых фигур на картинах раннего Пикассо (*La famille*

d'arlequin, 1905; *Arlequin accoudé*, 1909; *Arlequin*, 1915 и др.).

It only opens at eight! *англ.* — Открывается только в восемь!

203. **la forêt de Fontainebleau** — лес Фонтенбло в предместье Парижа.

206. ***hommilière*** *f неол.* — человеческий муравейник (по аналогии с fourmilière).

210. **les astrosociologues** — астросоциологи.

220. **ils s'affublent d'ailes** — они пристраивают крылья.

222. **la Cinquième Avenue** — Пятая-авеню, улица в Нью-Йорке.

LA CONVERSATION

В настоящем издании дана подборка афоризмов и изречений из книги Андре Моруа *La Conversation*.

228. **dans la lumière de Venise** — т. е. в лучах, падающих сквозь многоцветное венецианское стекло.

Stevenson — Роберт Луис Стивенсон (1850—1894), английский писатель. Здесь, видимо, приведено высказывание из его книги «Непритязательные этюды о людях и книгах».

229. **Ovide** — Овидий (Публий Овидий Назон, 43 г. до н. э.— 17 г. н. э.), римский поэт.

230. **Mme du Deffand** — маркиза дю Деффан (1697—1780), французская писательница, в доме которой был литературный салон.

234. **des centres secondaires** — вторичные (нервные) центры.

238. **Spinoza** — Барух Спиноза (1632—1677), голландский философ-материалист.

Confucius — Конфуций (551—479 до н. э.), древнекитайский философ.

saint Augustin — св. Августин (354—430), средневековый богослов.

242. **le géant de la fable** — намек на Антея, в древнегреческой мифологии сына Посейдона (бога моря) и Геи (богини земли). Прикасаясь к матери-земле, он черпал новые силы.

243. **le salon Verdurin** — Вердюрен — один из героев романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» (*A la recherche du temps perdu*), литературный критик, в доме которого постоянно собирались друзья-литераторы.

244. **Mme de Sévigné** — маркиза де Севинье (1626—1696), французская писательница.

245. **mithridatiser** — выработать привычку к яду.

248. **Wilde** — Оскар Уайльд (1856—1900), английский писатель.

Walpole — Роберт Уолпол (1676—1745), английский министр, финансист и политик.

Richelieu — Арман де Ришелье (1696—1788), французский маршал, внучатый племянник кардинала де Ришелье.

Rivarol — см. прим. к стр. 42.

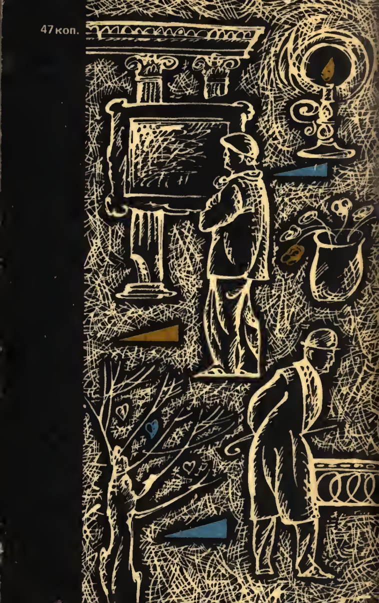
249. **Emile Ollivier** — Эмиль Оливье (1825—1913), французский политический деятель.

250. **Schumann** — Роберт Шуман (1810—1856), немецкий композитор.

Barrès — см. прим. к стр. 29.

М. Кипяткова

TABLE DES MATIERES


47 коп.